

ГРАНИ

GRANI

126

1982

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи»,
«Грани» №1, июль, 1946.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXVI

№ 126

1982

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ф. СВЕТОВ — Хорошо гуляли!.. (Попытка эпического)	5
Василий ПРИГОДИЧ — Из книги «Картонные личины»	49
Лев ДРУСКИН — Стихи	58
Ирина РАТУШИНСКАЯ — О смысле жизни. Голос. Рассказы	64
Ростислав ВОГАК — Стихи	75

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН — Великое противостояние душ	83
---	----

ИСТОРИЯ

Проф. С. Г. ПУШКАРЕВ — О свободе и самоуправлении в России. Часть 1	140
--	-----

ДОКУМЕНТЫ

Н. РУТЫЧ — К истории гибели памятников русской культуры	211
Комментарии к фотографиям	234

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Карл ПОППЕР — Незавершенные поиски. Интеллектуальная автобиография	240
Ирина ОБОЛЕНСКАЯ — Сегодняшний день экономической системы хозяйства в СССР	272
Содержание журнала с № 123 по № 126	291

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1982 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main
Издательство «П о с е в»

Ф. СВЕТОВ

Хорошо гуляли!..

(Попытка эпического)

1

Летом тяжело в Москве: духота, потное безумие приезжих, бьющих тебя чугунными чемоданами и пудовыми сумками, бесконечные, отупляющие маршруты с перепрыгиванием с одного транспорта на другой, сладкая с мыльным привкусом вода в режущих глаза красных автоматах, тающее в липких пальцах мороженое... Но это для отпускника — что его гонит по переходам и жарким адом пышущим магазинам? А для человека служащего, работающего, прикованного глазами к бегущим по табло секундам, втискивающегося, как в кисель, в липкий от тел автобус где-нибудь в Орехово-Борисове, чтоб потом полтора часа прыгать из метро в трамвай — на Преображенку, да еще в Строгино!.. И будто в невероятном сне, сквозь заливающие потом глаза вдруг увидишь мерцающий мираж из другой жизни: прохладную речку, почувствуешь из ушедшего навсегда с миром детства — запах влажной осоки под корявой нависшей над водой ивой,

Рукопись получена из Самиздата. — Р е д.

еще ниже вязкий по грудь ил, а выберешься, шагнешь дальше, бухнешься с головой — и вынырнешь у того берега с заросшим неполютой картошкой полем, а за ним на бугре лесок, ткнешься носом в зеленый, всегда прохладный мох, раскинешь руки...

Я потому и согласился сразу, не подумав, не успел подумать, да что мне за дело, что там будет и как: „У Коли день рождения, сорок лет, юбилей, а ему грустно, одиноко, с семьей сами знаете как, поедemте, вы ни о чем не заботьтесь, я все куплю, и билеты, я знаю, у вас нет денег, не нужно, но он будет так счастлив, да и одной мне неловко...”

Господи, подумал я, да будь он неладен, этот город с его колбасой, хоть на день вырваться, очнуться, неужто в самом деле возможно, о чем мечталось, снилось, что ушло навсегда, а ведь есть, существует, не может не быть... Я положил телефонную трубку. Сядем в поезд, подумал я, и он будет счастлив...

Тут была заковыка, конечно, но я ж говорю, что не успел подумать, у меня мозги были расплавлены от этой сумасшедшей жары и этого безумного города. Заковыка была в Розе Рафаиловне и Коле — мне-то зачем влезать в их дела?.. Это верно, но, с другой стороны, — у Николая день рождения, юбилей — неужто сорок лет! А как же, плотные были годы, много чего успел, да за него больше успели, но сейчас-то ему, верно, скажем так: одиноко, грустно, он будет счастлив, а я увижу то, чего, вроде бы, и нет на свете... Но это я потом принялся размышлять, на другой день, часов шесть было, как выбрался на улицу... Суббота, пустой чистый город, без машин, прохлада неведомо откуда — едем! Это я уже в метро сообразил, сажу себе, просторно, прохладно, не зря сказано: кто рано встает, тому Бог подает! Будто не по дурацкому, хотя и гуманно-

му, делу еду да еще в ненужную мне кашу — а уже не здесь, уехал, и то самое, о чем мечталось, — началось... У меня, и верно, денег нет, пустой, как бы я поехал, если б и вспомнил, что ему сорок лет, да и какой юбилей — в чем душа жива другой раз не понять... Батюшки, вспоминаю я, и хотя прохладно, народу никого, а жарко становится — там же его жена должна быть, Валентина, а у нее с Розой Рафаиловной... А что она к ней вяжется, думаю я, эта Валентина, на нее поглядеть, на Розу Рафаиловну... Но дело не в ней, думаю, не к ней мы едем, а к нему, к Николаю...

Я его, пожалуй, лет пять знаю, постарше казался, как встретились, а ему, выходит, аккурат, как мне сейчас, было. Так не сравнишь его жизнь с моей: в моей беде кто виноват — да никто, сам и виноват, кто мне велел с работы уходить, жену оставить, копался бы сейчас в своей клубнике — или уже отошла, июль на дворе? Пусть отошла, там этих разных ягод... Да и речка, вспоминаю я, что теперь миражом оборачивается, всегда под боком, хоть спи в ней, когда с женой неохота. Ну охота мне с ней спать или нет — до того, как я понимаю, никому нет дела. Но — не заладилось, а верней сказать, клубника, конечно, хорошее дело, особенно если с молоком — в глубокую тарелку, зальешь ее холодным, чуть ложкой придавил, чтоб порозовело, и... Это мне хочется, чтоб так выходило — принципиальное расхождение, разные идеологии, мироощущения: у вас клубника, а у меня — свобода, скажем... Да ну, какая там свобода — н о в а я ж и з н ь мне открылась, а в ней все не так: что у вас хорошо, у меня теперь... Плохо, что ли?.. Нет, не так примитивно, иначе, по-другому: мне нужно перечеркнуть всю свою прежнюю жизнь, от себя отказаться, умереть и — воскреснуть... Нужно — но способен ли я на

это?.. Да, пожалуй, мне только хочется, чтоб так было а на самом деле проще: встретил Татьяну и все, что нагородил — дом построить, дерево посадить, сына родить, все пошлостью обернулось, советским китчем. Конечно, пошлость, только не понять, почему она теперь миражом блазнится, эта пошлость — тарелкой клубники в молоке или речушкой в осоке — может, устал, жара мозги плавит, а если еще проще — слабоват?.. Ну едва ли все-таки так примитивно — разве случайность, что я ее встретил, случайно все, что было со мной, с нами, что нашел в себе силы расстаться?.. Это путь, а я в самом начале, новая жизнь, а я слишком мало о ней знаю, не готов, тут что ни день — наука... Ладно, Бог даст силы, разберемся.

Вот тогда я с Николаем и встретился. Мне податься некуда, а ему всегда — некуда, у меня беда — от клубники с молоком отказался, характер показал, жизнь выстраиваю на гранитной основе принципа, а он в те годы, когда я сопляком желторотым из класса в класс перешагивал, в университет протискивался, вступить-не вступить в комсомол — как с голыми руками на штыки, он в те розовые шестнадцать — уже по пересылкам, потом свое это самое средне-высшее тянул, а разве в том дело, за что ему впаяли?

Битый мужик вернулся, мы встретились, когда он прописку себе организовывал, куда только ни нанимался, поближе к Москве, конечно, хотя и не в колбасе у него было дело. Москва, хотя и режимная, все знают, а издалека думается, легко затеряться — кто ты такой, чтоб особый интерес вызвать, это в любой провинции — торчишь, как гвоздь в башмаке, глаза мозолишь. А ему и хотелось — затеряться, пусть позабудут, разобраться, себя понять, а уже знал — только в толпе. Где ж

еще побольше толпу найти, как не в Москве — десять миллионов. Но ведь как просто придумано: паспорт, ЖЭК, работа — нехитрая сетка, а на любую рыбешку.

Думается, он тогда и пить начал, раньше-то где ему было, если с шестнадцати лет спецобразование получал на казенных харчах.

Какие все-таки люди разные, думаю я, для меня свобода была — сил набраться и все, что на песке нагородил, бросить, за Татьяной кинуться по первому слову (да если б хоть слово было, то-то обернулась мне эта свобода!), а для него она в том самом доме, хотя твердо знал: песок — не фундамент. Конечно, покоя хотелось, тишины, своей крыши и четырех стен, двери с замком, а ключ чтоб у него в кармане.

Надо ж, думаю я, такой битый мужик, а его только ленивый не обидит. У этих звонарей нюх особый на его деньги, он им и так отдаст, поставит — гуляй, рванина! Но ведь они пьют с ним, а потом двое — за руки, а третий по карманам шарит. Да не то здесь удивительно, что он выбрать не умеет с кем пить, а то, что через неделю — гляжу, они опять вместе и опять за его счет. Да что звонари, где б ни жил — мусора́ тут же выделяют, будто отметина на нем, хотя не провинция, десять миллионов, и интереса для них в нем никакого, а выходит — есть интерес! „Смотри, мол, Коля”. — „А что мне смотреть, все нормально, работаю”. — „Сегодня нормально”, — говорят. И верно, на завтра получит деньги, еще до магазина, рассказывает, не добежал, глянь — мусор: „А ну-ка давай сюда”, — и в подъезд. „Ты что, — говорит Коля, — уж не на мокрое ли дело?” — „Поговори у нас...” — и всю получку выгребают.

Тут кто б не запил, а ведь он, хоть и пьет другой раз неделю, но работает — и столяр, и плотник, и слесарь. Глаза у него хорошие становятся, грустные, с усмешкой, и что-то бормочет, будто и кусок дерева у него под руками живой. И не дорожится, хотя бы и за обед, все равно деньги до утра не доживут.

Конечно, ему бабу было нужно, сразу все проблемы, он это знал, но и тут заковыка: мне не понять, что они в нем сразу видят — или тоже нюх особый? — только где б с ним ни оказались, пусть там жигулисты, артисты, фарца или чин какой в кожаном пиджаке — все бабы у него, у Коли. Но ведь и бабы какие по нынешним временам: если девчонка — тут и говорить не об чем, зачем она, а те, что посерьезней, за тридцать — у них свои проблемы, своя химия: день-два, а на третий — будь здоров, Коля, мне не семнадцать, а с тобой гнезда не совьешь.

Тогда Валентина и объявилась. Ну, не мое дело да и откуда мне знать, как и на чем у них сладилось, я и на венчании был, и обед-ужин после церкви; два года прошло, ихний Лешка мой крестник, а уже давно замечаю, нет сомнения — сбежал бы, вроде как я, когда б у него силы на то были. Так нет уже сил. Добили мужика.

Мне выходить на следующей — три вокзала, а в голове все какая-то ерунда про Николая. Как он прошлым летом, такой же июль, только жары этой не было, дожди — заходит ко мне утром на пост. Пост — клетушка под лестницей: топчан, стол с двумя телефонами, как у большого начальника. Утром самое время: служивый народ разбирает ключи, приятели-алкаши до вечера не заглянут, тишина, можно читать, записывать всякую ерунду, о том о сем вспоминать... Заходит, стянул кепку, закурил, а пальцы дрожат. „Плохо, Коля?“ — спрашиваю.

„Нет, — говорит, — нормально. Вчера было, а сегодня нормально. Я думаю за ягодами — у тебя нет какой-никакой посуды?” Нашел ему ведро, уборщица тряпки отмачивала, отскребли содой. „Это дело, — говорит, — пока полное не наберу — не вернусь”. — „Ты что, — говорю, — это ж Москва”. — „Это для вас Москва, — говорит, — а для меня — Россия. Ты не сменишься?” — „У меня вечером сутки заканчиваются”. — „Порядок, — говорит, — жди”.

И верно, еще не стемнело, вваливается: исцарапанный, рожа красная — и ведро на стол, на телефоны. Поднял лопухи, а оно полное — земляника, черника, малина — запах в моей клетушке, дух захватило.

А тут сменщица, старушонка с двумя внуками. „Во как поспел, — говорит Коля, — наваливайся, ребятня...” — „А я, — говорит сменщица, — варенье варить любительница”. — „Вот и ладно, — говорит Коля, — а то у нас таза нет. Сдавай ключи, потопали”. Нашарили мы с ним два с полтиной по карманам, еще до закрытия успели...

Рано-то рано, а здесь народ гудит, как муравьи, вон она куда Москва перетекает — уикенд. Ладно, рассосутся, нам далеко, часа два, что ли, я не был никогда, а наслышан про тамошние чудеса — подышим!.. Какая жизнь нескладная, думаю, простое дело за город вырваться — проблема, да я с тех самых пор, как... Да, с тех самых пор и не был, все боялся чего-то упустить, опоздать — а что успел, да ничего. Ну так-то тоже едва ли стоит, чему-то я все-таки научился. Внутреннее от внешнего отличать, скажем. Последний прокол в этом образовании и был у меня с Татьяной, научила, век не забуду. На том и спасибо ей... Стоп, а этот что тут делает?..

— Здорово, Женя, — говорю.

— Стало быть, правильно, — говорит, — а то у меня голова не варит, я уж думал, не тот вокзал.

— А тебе какой нужно?

— Нам вместе, — говорит, — Коле сорок лет.

Вот так номер, думаю, это она перестраховалась, что ли, или ей меня одного мало?

— Тебя Роза Рафаиловна выдернула? — спрашиваю.

— Боюсь не доеду, — говорит, — сейчас бы пива глотнуть...

Подобрала бригаду для спасения... Может, сорваться, пока не поздно, там такая будет речка-осокка... Но как подумал, что обратно ехать, два дня глотать духотищу, денег нет, уже договорился, чтоб меня подменили...

— У тебя ничего такого нету? — глядит на меня жалобно, глаза потухшие, а тоже орел был — „Женя-диссидент”.

— Нас везут как представителей общественности, — говорю, — мы должны быть на высоте момента, а потому сухой закон до наступления банкета.

— Не доживу, — Женя крутит головой: бледный, помятый, персонаж, только из какого произведения?

Из романа об утраченных иллюзиях, думаю. То же, кстати, выбрал в свое время свободу: бросил работу, а ведь карьеру начинал, родители проклинали — сторож, вроде меня: ночи напролет споры-разговоры, Россию спасают, уезжать-не уезжать, монархия-демократия, евреи, теодицея, Фаворский свет... Как же, и мы с Колей сживали на ихних сборищах: дым коромыслом, звенят стаканами... „А вы как, Николай Степанович, думаете?” — они уважительно к Коле, при нем, все-таки сиделец, постарше, с детства крещен, не то что эти сосунки. „Я думаю, — говорит Коля, — или бормотуха, или про Фаворский

свет. Да вы уж выбрали, ты никак, Женя, за пятой бутылкой побежал? Ладно, налей и мне... Устраивает такой ответ или еще чего разъяснить?" Замолкали, хотя и видать, злятся, он строго с ними разговаривал, и стрезва об этом не любит, не то чтоб за бормотухой. Эх, Коля, Коля, думаю.

— Ты где теперь живешь? — спрашиваю Женю.

— У одного жлоба, — говорит. — Профессор кислых щей. Квартира, машина, денег куры не клюют. Роза Рафаиловна, кстати, и устроила. Утром мне кофе варит, вечером рюмку коньяка и рокфор. Темнота. Ничего не волокет. Неужели, спрашиваю его, вам не стыдно платить партийные взносы, лучше б бедным отдали или зэкам...

— А с кем бы ты тогда коньяк пил? — спрашиваю.

— Я с ним не пью, — говорит, — я ж тебе сказал: рюмочку под рокфор. Я пытаюсь его совесть разбудить, он же человек, не может быть, чтоб совести не было, верно? Если хочешь, он должен быть благодарен, что даю ему возможность реально ощутить свою вину перед всем, что вокруг происходит. У него квартира, машина — а у меня?.. Я ему Евангелие читаю, он его никогда в глаза не видел.

— Рисковый ты малый, Женя, вдруг проймешь — и он с тобой местами поменяется?

— Нет, — говорит, — с ним лет пятьдесят надо работать, у меня терпения не хватит. Болото... Где ж она, на поезд опоздаем?

— Ты давно Колю не видел? — спрашиваю.

— Месяц назад приезжал за продуктами, мы с ним пять дней гуляли. Я его до поезда провожал. Видишь как, работает голова — вспомнил вокзал.

— Продукты тащил?

— Какие продукты, его нельзя одного оставлять, к нему всегда вяжутся, а здесь милиция у каждого столба. Я ему мешок ксерокса сплавил. За мной

уже полгода ходят. И еще Роза Рафаиловна кобеля добыла.

— Какого кобеля?

— Черного, — говорит, — молодой еще, глупый, а уже с телка. Его там побили, Колю, ну Роза Рафаиловна и раздобыла ему для самозащиты. В деревне, мол, нельзя без собаки.

— Это для кобеля, что ли, ксерокс? — спрашиваю.

— В том и дело, — говорит, — что кобеля надо кормить, а у них мяса и на Пасху не бывает. Может, правда, Валька его перевоспитает, он сено начнет жрать. Коля теперь возчиком в совхозе, бочку с водой возит, отщипнет для своего кобеля, поделится с рысаком.

— Если за тобой ходят, — говорю, — зачем ты ему мешок тащил да еще на вокзал, где у каждого столба... Теперь за ним будут?

— Ну — или будут, или нет. Он согласился. Не мальчик.

— Если пять дней гулять, он бы и не на такое согласился.

— Трус в карты не играет, — говорит.

— Дураки играют, — уточняю.

— Что-то ты в последнее время очень стал разумным, — прищурился он на меня.

— Научили, — говорю, — с дураками дело иметь — самая наука.

— Я бы с тобой поговорил, — вздыхает, — но у меня и глядеть на тебя сил нет.

— С вами безопасно, — говорю, — когда еще у вас силы будут. Только на это самое хватает...

— Ой, ребятки!.. — слышу. — Простите меня, бежим — вон поезд, три минуты осталось...

Картина, конечно, достойная кисти... передвижника. Ну сейчас у меня времени нет рассматривать.

Хватаю сумку, вторую... Господи, как она все это дотащила, у меня плечи затрещали...

— Не туда!... — близоруко щурится. — Вон, кажется, платформа... Нет, другая...

— Нам какой поезд? — спрашиваю.

— Поезд?.. Женья, что же вы?..

Женья настолько переполнен презрением ко мне, что не шелохнулся, пока мы мечемся перед ним по платформе. Сплювывает, руки в карманах.

Она бросает свои сумки.

— Что с вами, Женья — вам плохо?

— Ты бы сумки взял, артист! — кричу.

— Поезд перед вами, — говорит.

Проходит мимо меня к поезду. Хватаю и ее сумки, вламываемся в последний вагон, еще 6 полминуты — остались. Двери задвигаются...

— Погодите!.. — кричит Роза Рафаиловна. — Я хотела воды купить, лимонаду для Варвары Никитичны...

Женья на меня обернулся, ухмыляется, простил, стало быть. Ого, даже лапу протянул за одной сумкой... Протискиваемся в вагон.

— Как обидно, — говорит Роза Рафаиловна, — все успела, а тут...

— Не огорчайтесь, — говорю, — в деревню лимонад не возят. Они квас употребляют.

Удивленно на меня глянула, ничего не сказала. Сумки я распихал по полкам, на крюки, в проходе можно стоять, через полчаса-час начнут рассасываться, сядем. За окнами еще Москва, все те же дома, башни, краны, пустыри с железным хламом, хотя бы скорей зелень — лес?! Уже не могу дышать спертým горячим паром. Пар, не воздух, а в нем смрад, город копил его годы, десятилетия, выдавливая из себя неестественность дикого человеческого скопища, объединенного... Чем объединено это

скопище — заботой о куске хлеба? Да кабы так, все было б не так, здесь иная общность, она опутывает ложью, вскормлена и вспоена ложью, в ней исчезает, тонет, захлебывается все простое и ясное: уважение к старости, боль перед беспомощностью инвалида, сострадание к нищему, сочувствие к бездомному псу или копающейся в отбросах кошке; так элементарен в этой вавилонской печи кровавый ад бойни, перемалывающей на колбасу жалко мычащее стадо — не дай Бог взглянуть в глаза под увенчанным рогами лбом: безнадежный, загнанный в глубь существа ужас... А рядом пошлость современной застройки, убогий крикливый сервис... Миллионы и миллионы людей день за днем, месяц за месяцем, год за годом торопливо выходят утром из подъездов, пряча в карманы ключи от так мучительно, чаще к зрелости выбитому жилищу, кидаются в один, второй, третий транспорт, а в конце дня тупые от усталости, бессмысленно прожитых часов, обвешанные сумками, кошелками, пакетами, забираются в тот же, обратным ходом следующий, распаренный за день транспорт, вываливаются у своих подъездов, поднимаются к себе — к своим плитам, телевизорам, погружаются в окостеневший в своем уродстве быт, поглощают пищу... Разве это хлеб, который человек призван зарабатывать в поте лица? Его путь от колоска так бесконечно далек, что невозможно представить за ним поле, где он колосится, а порошок, ставший молоком, добыт в какой-то мрачной шахте, оно не могло хоть когда-то быть сочным лугом под пламенеющей полосой заката, не могло быть подарено человеку странным реликтовым существом с колокольчиком на бурой шее... Господи, как я ото всего этого устал и как мне это все надоело!

Розе Рафаиловне предлагают место — малый в маечке „Marlboro” отправился покурить.

— Женья, садитесь, — говорит она, — у вас измученный вид.

— Он не любит с и д е т ь, — говорю, — верно, Женья?

— Еще не вечер, — огрызается он, — это мы еще узнаем, кто из нас любит, а кто нет.

— Так вы не сядете? — щурится она.

Подталкиваю ее к освободившемуся месту,

— А кроме лимонада, — спрашивает Женья, — вы ничего не позабыли?

— Вы имеете в виду выпивку?

— Именно ее, — говорит.

— Как же, — улыбается Роза Рафаиловна, — я понимаю, вы все народ пьющий: шампанское, коньяк, водка, сухое вино. Вот только лимонад...

— А пиво? — у Жени глаза ожили.

— Да, конечно, две или три бутылки.

— Две или три, — говорит Женья, — разницы никакой, а Николаю нельзя пиво с водкой. Он впадает в отчаяние.

— Что ж я наделала! — вздрагивает Роза Рафаиловна.

— Мы этой беде поможем, — говорит Женья, — давайте бутылку...

Ну, мне на это смотреть не обязательно, пойду покурю. Выбираюсь в тамбур.

Поезд со всеми остановками, народ валит мимо меня к выходу, всем охота на травку. Того же самого всем охота, что и мне, а стало быть, не все еще потеряно, я-то живой покуда, ну и все остальные — живы; давят нас, опутывают, перемалывают на колбасу. У каждого своя история и каждому дано в ней выстоять или пропасть. Но это уже от тебя самого зависит — пропадешь ты или нет. У каждого

своя история, варианты в ней бесчислены, а суть одна. Она всегда была одна. Это только со стороны кажется, что твоя ситуация уникальна, нет — одни и те же искушения, две тысячи лет назад нам о них сказали, кто ж виноват, что не слышим... Разве я о том жалею, что у меня теперь клубники нет, что женщина, которую так любил, одна она и казалась светом в окошке — где она? Мне время жалко, что не вернуть, сил, растроченных неведомо на что. Зато опыт, собственный, не из книжки. „В чем же он?“ — спрашиваю я себя. В знании того, что мне не нужно, или в сострадании к тем, кто того не знает?..

Возвращаюсь в вагон. Он наполовину пуст. Женя расположился вольготно, один на скамейке да и вокруг пусто; возле него две опорожненные бутылки из-под пива. Открывает третью.

— Твоя, — говорит Женя.

— Спасибо, я и так в порядке.

Сажусь возле них. Теперь я могу ее рассмотреть. Розе Рафаиловне под шестьдесят, а может, и шестьдесят исполнилось. Я никогда не видел ее такой нарядной: светлое платье, новое, туфли на высоких каблуках, волосы коротко подстрижены, седина ей к лицу, нос большой, еврейский, унылый такой, зато глаза хорошие, живые, заинтересованные...

— Вот ты послушай, — говорит Женя, — Роза Рафаиловна убеждена, что образование дает человеку свободу, что стоит просветить наш несчастный народ, рассказать ему о тайне атома и Общественном договоре — и все сразу полюбят друг друга, оковы тяжкие падут, черные „Волги“ станут общенародным достоянием, как и красная икра, и все мы, взявшись за руки, закружимся в очаровательном хороводе.

— Вы передергиваете, Женя, — спокойно возражает Роза Рафаиловна, — я ничего не говорила

о народе, я не умею мыслить такими категориями, я говорю о Коле... Он так хочет учиться...

— А вы считаете, его мало учили? — спрашиваю.

— В том и дело, — говорит Роза Рафаиловна, — я первый раз встречаю человека, у которого была бы такая тяжкая жизнь, он мог бы озлобиться, всех и все возненавидеть, пропасть, а он... Да я не знаю человека добрей и... если хотите — талантливей, отзывчивей на все хорошее. Ему нужен покой, тишина, возможность получить настоящее образование. Он столько страдал, ему просто не везет.

— То есть создать для него уникальную ситуацию, — Женя отхлебывает пиво, — пусть он потихоньку превращается в свинью и плюет на то, что происходит рядом.

— Ну почему все надо валить на одни плечи — хватит с него!

— Потому что злость нужна, а не отзывчивость неизвестно на что. Для чего его учили столько лет, как он вот говорит, — Женя кивает на меня, — тогда и процесса никакого — напугали, залез под кровать, сиди тихо?

— Ну а что бы вы хотели, чтоб его опять посадили? — взволнованно говорит Роза Рафаиловна.

— Вы меня про меня спрашиваете или про него?

— Мы говорим о Коле, — пожимает плечами Роза Рафаиловна.

— Если вы так к нему хорошо относитесь, — говорит Женя, — и так убеждены в его неведомых мне дарованиях, то надо бы не дом ему покупать, чтоб он корни пускал в почву, которая уже и картошку не родит, не то чтоб гражданина вырастить, а зарегистрировались бы с ним да получили вызов, благо вы еврейка и у вас мужа нет. Вам это ничего не стоит. И мотать отсюда пока не поздно. Зачем ему здесь торчать — з а ч е м он здесь?

— Бог с вами, — Роза Рафаиловна покраснела, — я действительно еврейка, но для меня, как и для Николая Степановича, не может быть другой страны, или, как вы говорите, почвы.

— Да в чем она, эта почва?! — злится Женя. — Для вас и для... Николая Степановича? Или вам не надоело на каждом перекрестке, а ну, и говорить неохота. А у него — Валька, что ли почва или теща, которую вы лимонадом хотите потчевать?

— Валя, как мне кажется, не совсем то, что для него нужно... — Роза Рафаиловна подбирает слова, — но это мое мнение, я могу ошибиться, а он ее, наверно, любит... Вы его друг, лучше знаете. Он верующий человек, они венчаны...

— Чёрт бы вас побрал, гуманистов! — машет руками Женя, — вам на голову... а вы утираетесь. Да кому эта доброта нужна, какой от нее прок? Ну зачем вы ему дом купили, у вас у самой, я знаю...

— Мне это было легко, — говорит Роза Рафаиловна, — я получила большую сумму за перевод, мне сейчас не нужно, а дом подвернулся — просто повезло. Вы сами только что сказали — рядом люди страдают, вот я и помогла тому кто рядом. Что в этом плохого?

— Безднадега, — Женя глядит на распотрошенную сумку с торчащими бутылками, в промасленной бумаге, видно, куры, еще что-то... — вы до самой смерти ничего не поймете, как ваш друг, к которому меня на жительство определили. Дом купили, помогли тому, кто рядом... Чем хуже — тем лучше! Неужто до сих пор не ясно? Полякам мяса мало, они уже готовы на баррикады, а у нас и картошка кончится, мы еще сто лет лебеду будем трескать. Вот может, когда лебеды не станет, опомнимся.

Силен, думаю, хорошо хоть народу мало, никто не слышит, а то бы не доехать...

— Но у него ребенок, — не сдается Роза Рафаиловна, — как же можно об этом не думать?

— Ребенок должен вырасти гражданином, а не лакеем, который за картошку или кусок мяса свободу продает... — режет Женя. — Зачем вы меня тащите, Роза Рафаиловна, дайте мне одну бутылку — я, пожалуй, обратно поеду.

Она беспомощно смотрит на меня, в карих глазах слезы:

— Коле сегодня сорок лет, я думала — напомним его друзьям, устроим ему праздник, он вас так ждет, я послала телеграмму, что мы едем...

— Да что он сделал за свои сорок лет, — горячится Женя, — с чем мы едем его поздравлять? Отсидел в лагере, так не он же сел, его посадили — в чем там был героизм? Для меня он, если хотите, Коля ваш, символ такой бессмысленной пассивности — фронда с бутылкой в кармане не пассивность, что ли? Хуже!.. Ты что усмехаешься? — глядит на меня с вызовом. — Да, я тоже пью, но я дело делаю, для меня христианство — не бегство от жизни, не мечта о тишине и собственной конуре с курицами, мне другое веселит душу — голову положить за других. Да какое у него право это свое бессилие на других вешать — на ту же Вальку, пусть она стерва, на Розу Рафаиловну, пусть она от чистого сердца или, простите меня, от глупости... А взамен что? Эгоизм, бессилие... Да я ни разу не слышал от него ответа на роковые вопросы — чему его научили? — а мы за них готовы...

— Что вы говорите, Женя!.. — Роза Рафаиловна всплескивает руками.

— Вы думаете, зло — это метафизика? — голос Жени набирает силу. — Оно реальность, оно в такой пассивности и бесовском эгоизме, самая питательная среда, это только кажется, если ты не укоренен

в социуме, то и не участвуешь в строительстве, так называемого, счастливого будущего. Участвуешь! Так же, как ваш профессор, кстати, только с другой стороны. Непросыхающие слезы жены — кем бы она ни была — участвуешь, обаянием непросыхающего пьянства — участвуешь!.. Вон оно зло, которое стало реальностью, а не книжным термином. А что ему самому от того плохо — разве его извиняет, поздравлять его с этим, им восхищаться?

— Что же вы тогда... — начинает Роза Рафаиловна и не может продолжать.

Ах ты гад, думаю.

— Женя шутит, — говорю, — он любит обострять ситуацию, а на самом деле добрый, отзывчивый человек и очень любит детей, красную икру и... курятину. А лебеду трескать не хочет даже за ради свободы. Он и пиво пьет от смущения, от скромности, а самому коньяк охота, хотя ему и пива пить не следует. Это, Роза Рафаиловна, от комплекса неполноценности. И Россию он любит, эмигрировать не собирается — кому он там нужен? Болтает незнамо что, чтоб про него, не дай Бог, не так не подумали. Верно, Женя?

— Тьфу, — плюется Женя, — дай сигарету, я на вас глядеть не хочу.

— Он еще молодой, — говорю, — необмятый, вы на него посмотрите, Роза Рафаиловна. Румянец, как у девушки, хотя сколько лет уже лимонад не употребляет, каждый вечер рюмку коньяка под рок-фор, хотя давным-давно на коньяк не зарабатывает. Это свидетельство душевного здоровья, детскости, хотя пора бы давно мужчиною стать. Стоит ли обращать внимание на его слова, когда они для него ничего не значат, он еще не знает или позабыл, что за каждое праздное слово следует наказание, за него

отвечают, да уж спросят, Женечка, за каждое словечко спросят, не сомневайся...

Женя выхватывает у меня сигареты. Он по-настоящему обозлился, на лице действительно пылают румянец, желваки вспухли, светлые глаза сощурились под чистым лбом, волосы ежиком... Как бы в драку не полез.

— Ты дождешься у меня, — говорит.

— Спички не забудь, — говорю ему в спину.

Не обернулся. Знаю я таких, это все город корежит людей неутолимым тщеславием, жаждой первенства, путает правду с истиной, силу со слабостью, сострадание подменяет якобы трезвостью... Они сами себя забывают, себя самих не понимают, стесняются, а пройдет столько-то лет — где оно свое, ничего не осталось.

— Устала я, — говорит Роза Рафаиловна, — может, он прав, чем к людям лучше, тем им хуже.

Странный она все-таки человек, думаю. Я не очень хорошо ее знаю, видел раз десять, все как-то случайно, а она ко мне всегда по делам обращалась: кого-то найти, кому-то что-то отвезти. Я и дома у нее побывал, тоже не в Москве живет, в дачном поселке, там такое несчастье — поздний больной ребенок, мужа нет, бросил ее, какое-то запустение, а никогда о себе. „Что же ее с Николаем связывает?..” — думаю. Но ведь она больше года с ним возится: дом нашла, деньги дала на покупку, прописку выхлопотала... И за что ее Валентина не влюбила — ревность, что ли? Наверно, а как иначе понять такую доброту, в чем-то должна быть корысть — зачем он ей сдался, пропащий, спившийся, простой мужик, а она женщина образованная, у нее своя, другая жизнь...

— Женя, конечно, в чем-то прав, — говорит она вдруг и глядит на меня карими беспомощными

глазами, — видите, как он расстроен, нервничает... Только я не могу понять и принять такой правды.

— Сколько людей, столько и правд, — говорю, — какая ж тут правота — разве это истина?

— Правда — не правота... — смотрит на меня с недоумением, — а истина — это что?

— В том и загвоздка, Роза Рафаиловна, — говорю, — но мы это, к сожалению, умозрительно понимаем, а надо бы с сердцем. Пропавший, пьющий мужик, мучает жену и тещу, не думает о ребенке, дела не делает, а жатва созрела... А я, к примеру, пью, но себя и свое дело не забываю, жену с тещей и ребенка не мучаю, всего лишь бросил. Но тот грех когда был, покался в нем, давно простили. Конечно, я лучше, а если к тому же по первому звонку отправился к этому пропащему на юбилей, хотя и за чужой счет, но проявил внимание, от своих занятий отказался, планы в угоду этому никому ненужному юбилею изменил, а уж если еще и жену не бросал, у меня пятеро по лавкам и упрекнуть не в чем — что же я не хорош, почему бы собой не погордиться и не высказать свою правду, если кто не понимает?

— Какая все-таки христианство жестокая идеология, — говорит Роза Рафаиловна.

— Христианство не идеология, — говорю, — а то, о чем я вам сейчас сказал, тем более — не христианство.

— Но вы же... то есть, Женя — христианин?..

— Зачем мы будем о Жене, — говорю, — я о себе.

— Господи, — вздыхает она, — значит, и вы так же думаете?

— Ну, что я думаю, это едва ли интересно, — говорю. — В Евангелии есть такое место... У Луки, глава седьмая. Спаситель пришел в дом некоего Симона, тот Его пригласил. Они возлегли у стола, в дом набилось много народу — посмотреть и послушать

Учителя. И среди них всем в городе известная своими пороками женщина, блудница. Люди сторонились ее, к ней было зазорно прикоснуться, хозяин дома был смущен ее присутствием в такой важный для него день, а Спаситель, у с л ы ш а в ш и й их мысли, предложил им притчу... Вы помните ее?

Роза Рафаиловна пожимает плечами:

— Мне трудно читать эту книгу.

— Понятно, — говорю, — мне тоже, бывает, трудно. Но это моя проблема. У одного заимодавца было два должника, — сказал Спаситель, — один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, — обратился Он к Симону, — который из них более возлюбил его?..

— Не понимаю, — удивляется Роза Рафаиловна, — это естественно, само собой разумеется... Что вы хотите этим сказать?

— Это не интересно, — повторяю я, — да и что я бы мог сказать? Но в этой притче, как и в других, впрочем, рассказываемых Спасителем несчастному, заблудившемуся народу — существо христианства, которое, как вы уже по этой притче можете судить, никак не идеология, а жизнь во Христе. А мы, так называемые христиане, об этом забываем. В отличие от вас, Роза Рафаиловна. А потому я тоже никак не могу понять — зачем вы тащите нас на юбилей Николая Степановича, зачем накупили ему и его жене, которая вас терпеть не может, кучу продуктов, а перед этим дом в деревне — в чем тут ваша корысть, а, Роза Рафаиловна?

Мы идем проселком, реденьким лесом, слева просвечивает поле, справа лес погуще, кусты, но тоже все кажется, вот-вот откроются какие-нибудь постройки. Почему-то никак не наступает ожидаемое мною отдохновение: духота, как в городе. Или я так устал, измучен, да и дурацкий разговор в поезде выбил из колеи. К тому же, пока мы двинулись этим проселком, метались по раскаленной, заплеванной привокзальной площади, искали автобус, пока выяснили, что один только что ушел, другой сломался и не пойдет совсем, а третий будет часа через два, не раньше, да и то неизвестно, пока, наконец, решили добираться своим ходом и выясняли маршрут, к тому времени больше всего хотелось никуда не идти, лечь где-нибудь на загаженную, заплеванную землю, под грязную лавку...

Где же она, прохлада, шелест листьев, вымечтанная речка в ивах, цветы и птицы?.. Редкие сосны, духота от раскаленных стволов, пожухлая по обочинам трава, поникшие кусты; тащу две сумки с булькающими бутылками, одну всучил Жене — мрачный, злой, плетется где-то сзади, еще одна полегче у Розы Рафаиловны, она никак не решится снять туфли, колко без привычки по такой дороге. Я весь мокрый, локтями смахиваю пот со лба. Идем уже минут сорок, почему-то темнеет, а вроде совсем рано...

Мы не разговариваем, да и какой разговор в такую жару. Три человека, которых свело неведомо что на проселочной дороге в реденьком сосновом лесу. „Кто мы такие?“ — думаю я. Ну, кто я такой, мне известно, а о чем думает Женя — просто злится, хочет скорей выпить или размышляет над

тем, что только что наговорил, ему неловко, он не дурак, да и с Колей они друзья, раздражен с похмелья, наболтал невесть что, а на самом деле... О чем думают люди, оказавшиеся в той же ситуации, что и ты? Но если он пришел к той же ситуации собственной дорогой, то и ситуация у него другая, для тебя это, скажем, ситуация, а для него — времяпровождение...

Сколько человек — столько правд, думаю я, а истина одна. Но откуда мне известно, что именно я знаю истину, вот ведь не могу понять Розу Рафаиловну, а с точки зрения истины — где ей место? Да уж никак не на этом проселке... Это с точки зрения моей правды, поправляю я себя, а с точки зрения истины нам всем место... Лучше о себе думать, тут легче не ошибиться: коли я все о себе знаю — зачем я-то тут с этими сумками?.. И безо всякой видимой связи и логики я вспоминаю Татьяну, наше последнее свидание, разрыв и все, что было перед тем, счастье, такое же душное, как этот день, как эта дорога под соснами, — без прохлады и шелеста листьев, без пения птиц и луговых цветов... Духота греха, думаю я. Как все просто с точки зрения истины, почему-то только задним умом понимаешь, что есть грех, а что... Да и то если тебе повезет — ткнут носом в собственную мерзость. Какая ж это свобода — пожалели, показали, а сам бы нипочем не отказался, не выбрал... Сам или не сам, думаю, но — пожалели, показали, простили грех! Да и какой грех — всего пятьдесят динариев, пустяк, больше не брал, а у него — пятьсот!..

Духотища, сил нет, надо бы Жене подсунуть, здоровый мальй, пусть бы тащил что потяжелей, ему и веселит душу — голову отдать за других, пусть бы отдал... Ничего не придумать глупей этой прогулки на никому не нужный юбилей... Пятьсот или пятьде-

сят динариев, думаю. В том и дело, что парадокс здесь, который нашими куриными мозгами не понять, что пятьсот или пятьдесят — разницы никакой, ты все равно преступник закона, а потому деваться некуда, мало ли, много, не твоего ума дело, задолжал плати, подыхай на этой идиотской дороге...

Роза Рафаиловна впереди не выдерживает, сбрасывает на ходу одну туфлю, хромает за ней, запикивает в сумку, стряхивает вторую и оборачивается ко мне:

— Ой, как хорошо босиком!..

Каких только людей нет у нашего царя, думаю, ну что я про нее могу понять — ничего! Шестьдесят лет, тяжкая жизнь, что у нее впереди? Шлепает босиком, хотя не умеет, вон как ноги ставит, надолго ли хватит; выволокла двух великовозрастных болванов, поить их, кормить, порадовать третьего, рискует нарваться Бог знает на что — или ей это в голову не залетает? Силы девать некуда, дурная, неизрасходованная энергия, доброта, любовь, глупость?.. У кого из нас больше долг, у кого меньше — что мы об этом знаем? Если нечем отдать — простит, только попроси, а фокус здесь в другом: который из нас больше в о з л ю б и т Его!..

— Далеко еще, — спрашиваю, — вы должны знать эту дорогу? — голос у меня хриплый, хватаю горячий воздух, как рыба.

Она останавливается подождать меня, теперь косячит рядом, поджимает пальцы на ногах, не решается наступить на подошву.

— Я тут не ходила, — говорит, — мне объяснили: сейчас лес должен кончиться, а там будет поле. Еще с полчаса, наверное, и — Берендеево! Коля заждался, Валя сердится, что задержались, я хоть просила, чтоб она не хлопотала, я сама все сделаю, приготовлю, но знаете — хозяйка... Давайте сумку...

И тут над головой треснуло, будто сосна разломилась, наверху прошумел ветер и опять стихло... Вон она откуда — духотища, темнота! И лес, верно, кончился, впереди поле, где-то за ним, вроде бы, деревня, не понять, так почему-то надеялся, церковь будет светить нам на том берегу поля — нет, никакой вертикали... Здоровая туча, рваный, кроваво подсвеченный край заглатывает голубизну уже над самой кромкой леса, над нашими головами, вдали — над полем сверкает, в деревне, видать, льет, потому ничего не разобрать, а не гремит...

— Ну, барин, беда, — говорю Жене, он подошел, — буран, теперь держись, подставляй за нас свою голову...

— Переждем, — Женя бросает сумку под дерево, — куда опаздываем, сейчас такое начнется... Давайте, Роза Рафаиловна, на одну бутылку, чтоб стало полегче...

Роза Рафаиловна мгновение смотрит на него, туча ее не волнует, хватается его сумку, кидается ко мне...

— Вы как хотите, — говорит, — я не могу ждать, они уже нервничают, да и... Нет, даже лучше, вы пока отдохнете, а я побегу, приготовлю...

Гляжу на Женю с любопытством.

— Чего? — удивляется Женя. — Да мы вас не пустим, вы что, грозы не знаете в чистом поле?

Она рвет у меня сумку, лицо стало решительным — вязать ее, что ли?

— Пойдем, Женя, — говорю, — даже интересно, я тоже не знаю грозу в чистом поле. Конечно, страшновато без покаяния...

Перебрасываю ему забулькавшую сумку, хватаю у нее Женину.

— Вперед, Роза Рафаиловна, авось помилует!

Уже темно, ветер рвет на Розе Рафаиловне новое платье, сзади затрещало дерево...

— Бежим, — кричу, — в лесу хуже!..

Ну, у меня таланту не хватит рассказать: небо над нами расколосось, выбитая колесами дорога перед нами загудела, и уже не понять, сверху бьет или... — и небо рухнуло на нас...

Я сразу ослеп, оглох — град, что ли?! — только мелькнула мысль: уж больно крепко, долго не может быть эдак... Двигаюсь наугад, светлеет впереди платье Розы Рафаиловны, оглядываюсь на Женю, не видать... И опять небо расколосось огнем — и так ударило... Бросаю сумку, догоняю Розу Рафаиловну, схватил ее, обнял, дрожит, стоим рядом.

— Переждем! — кричу ей в ухо. — Лучше стоять, свалимся куда-нибудь...

И тут Женя ткнулся сзади в меня.

— Идиоты, — говорит, зубами лязгает, — ну я припомню этому... Степановичу...

— Господи, помилуй, — думаю вслух, — прости нас, дураков окаянных, всю жизнь блудили, про Тебя не помнили, а как дошло до шкуры...

Неужто три часа назад я ехал в метро, лениво пересматривал свою жизнь, мечтал о речке-прохладе, в поезде поглядывал в окно на улетающий назад гигантский город с колбасой и сервисом, слушал доморощенную болтовню, высказывал собственные глубокомысленные соображения?.. Мы стоим, застряли посреди чиста поля, съежились, дрожим, уцепились друг за друга — три человека, ничего не способные понять друг о друге, три козявки, червяка, которым п о к а з а л и, кто они такие. Вокруг все вздыбилось, полыхает, рокочет, трещит, ломает с тяжелым грохотом, дождь ли, град лупит нас по головам, душит, прикрываю локтем лицо, твердая, как асфальт, дорога под ногами стала вязкой — если не убьет, не потонуть бы...

— Господи, помилуй, — думаю я вслух, — благодарю Тебя, показал, научил, если оставишь в живых — не забуду...

Сколько мы так стоим — минуту, пять, десять минут — час?

Роза Рафаиловна шевельнулась под моей рукой:

— Вроде, светлеет, — слышу, — пойдёмте.

Поднимаю голову: верно, посветлело, ветер крутит, швыряет в нас остатки дождя, над головой только черные клочья, впереди над деревней совсем очистилось, а за нами... Да, было б нам в лесу, благо что редкий, а проредело, вся опушка, как на лесосеке, и отсюда слышать: рокошет, трещит, стреляет...

Я широко крещусь:

— Ну, Роза Рафаиловна...

У нее глаза замороченные, разве о том думает, что показали, предупредили...

— У меня же пирог в сумке, — вскрикивает она, — книги, что теперь с ними!..

— Стоп, — говорю, — я ее где-то потерял.

— У меня твоя сумка... богомолец, — бурчит Женя: ишь ты, проявил заботу.

Вид у нас... Платье Розы Рафаиловны в грязи, облипло — головешка обугленная из ведра, Женя... — петушок общипанный, прямо в суп его, с лапшой, да и я, надо думать, хорош.

Ползем по грязи, ей хорошо босиком, Розе Рафаиловне, а мы в своих корочках...

Уже деревня, вода бежит по канавам — ручьи! — больше ни звука, будто вымерло, а как миновали первую избу, петух закричал. Ну — сбылось, о чем мечталось, — Берендеево!

Глядят, небось, из окон, как же, такое кино здесь не часто показывают.

— Ну вот, — оборачивается на меня Роза Рафаиловна, улыбается счастливо, — видите, как хорошо

— добрались! И они не сердятся, поняли, что нас гроза застала...

Да уж куда лучше, думаю, у меня сейчас только об том и забота — сердятся они или нет.

Роза Рафаиловна толкает калитку — болтается без запора, ну да — сапожник, он всегда без сапог...

Что-то грохнуло, загремело, я задрал голову — опять, что ли?! Небо чистое, откуда бы?..

— Роберт! — вскрикивает Роза Рафаиловна, — здравствуй, милый...

У меня на мгновение в глазах потемнело: здоровенный кобелина, чернѣй, кровавый язык вывалился, белые клыки, гремит толстой цепью, рыкает, аки...

Хватаю Розу Рафаиловну, выволакиваю назад, стоим втроем с этой стороны заборчика — ну кино!

— Роберт, Роберт!.. — недоумевают Роза Рафаиловна.

— Погодите, — говорю, — „Роберт“, сейчас хозяева появятся, хотя бы и спали — услышат.

Цепь длинная, кобелина рывкает у самой калитки, становится на задние лапы, шерсть на загривке дыбом, и тут замечаю — хвост у него пушистый, торчком и — виляет...

Открывается дверь в избе, выглядывает старуха.

— Варвара Никитична, — игриво кричит Роза Рафаиловна, — помогите, испугались Роберта!..

Старуха глядит на нас: хмурая, платок на самых глазах, тонкие губы поджаты — и захлопнула дверь. Нет ее.

Роза Рафаиловна беспомощно озирается. Женя хмыкает:

— „Не ждали“, — говорит, — бродячий сюжет из нашей классики.

Роза Рафаиловна рвется из моих рук:

— Пустите, он не тронет, это же...

И тут на меня накатывает злоба: вся эта дорога, разговор в поезде, гроза в чистом поле, „кино”, в котором не мы зрители... Распахиваю калитку, в глаза бросается полено, хватаю его и иду на эту скотину, я, наверно, страшнее.

— Ах ты, подлая тварь... — я даже зубами заскрипел.

Пес поджимает хвост, гремит цепью, пятится, неожиданно поворачивается и трусит к конуре, мелькает в ней хвостом, перевернулся и вывалил морду с красным языком.

Перевожу дух, бросаю полено:

— Прошу вас, дорогие гости!

Идем через двор: темная поленница, чахлая грядка, цветочки, нет сомнения, град был — все побито, в грязи... Изба высокая, крыльцо, одна перилина оторвалась, висит; поднимаемся, открываю дверь, темные сени забиты хламом, толкаю вторую дверь...

— Здорово, хозяйева, — говорю, — что ж не встречаете?..

Большая комната в четыре окошка, перегородка доверху не доходит, там вторая половина, печь в пол-избы, вдоль нее широкая лавка...

— Коля!! — кричит Роза Рафаиловна, отталкивает меня, несчастные сумки брякнулись у порога...

Голова нашего юбиляра свесилась с лавки, одна рука на полу, вот-вот свалится...

— Что с ним, Господи?! — Роза Рафаиловна уже на коленях перед лавкой. — Он жив?

В углу под темным образом в окладе широкий стол, на нем грязная посуда, порожняя бутылка, огрызки...

— Опоздали, — говорит Женя, — поезд ушел.

— Да помогите кто-нибудь!.. — Роза Рафаиловна чуть не плачет. — Что с ним?

Подхожу к лавке, поднимаю Колину руку, голову. Спит. Пьян, конечно, не добрался до кровати, вон она — пышная, с подушками, зачем она ему да и кто б его туда затащил?..

Во второй половине, там, видать, кухня, гремят кастрюли.

— Валентина — ты где там? — говорю.

Кастрюли грохочут не по-нашему, не понять. Шагаю туда: печь давно протопили, лавка, на ней ведра... ага, газовая плита... Старуха возится с чем-то.

— Валентина уехала, что ли, — спрашиваю, — вы не получили нашу телеграмму?

— Как же, телеграмма, — старуха не оборачивается, — как глаза продрал, за бутылку. Я тут не хозяйка, ничего не знаю.

— Варвара Никитична, — встревает Роза Рафаиловна, — куда его можно переложить, нельзя же так, человек — не...

— А ты кто такая, что он для тебя человек? — старуха распрямляется, в руках сковорода. — Пришла, не здравствуй-не прощай, а туда же...

— Господи, — говорит Роза Рафаиловна, — вы что, не знаете меня?

— Я никого тут не знаю, — говорит старуха, — не хозяйка.

Пусть лежит, — подает голос Женя, — я ему ботинки снял, еще под голову...

Затаскиваю на вторую половину сумки:

— Вынимать, что ли, Роза Рафаиловна?

— Да, да, конечно, — Роза Рафаиловна совсем уничтожена. — Видите, Варвара Никитична, мы хотели отпраздновать ему день рождения...

Сумки внушительные, старуха явно смягчается.

— День рождения, — ворчит она, — у него что ни день — рождение. В доме хлеба-сахара нету, ребенок криком, а ему все...

— А Валя-то когда будет? — не понимает Роза Рафаиловна.

Старуха не отвечает.

— Нам бы переодеться, — говорю, — в самую грозу угодили. Есть у него штаны-рубашки, рабочее должно быть?.. — а сам вытаскиваю и вытаскиваю из сумок, ставлю на лавку: бутылки, свертки, пакеты, коробки...

Минут тридцать прошло, едва ли — час, у Розы Рафаиловны второе дыхание, энергия — турбину крутить, она и нас с Женей завела, даже старуха сдвинулась, гляжу: рубит зелень, яйца, картошку выдала; отправился чистить во двор, возвращаюсь — мать моя матушка! Стол под хрустящей белой скатертью — она и скатерть приволокла из Москвы! — салаты в мисках, помидоры, консервы, разных сортов колбаса, румяные куры, бутылки, а посреди стола именинный пирог — сорок свечек — уж чем она его склеивала, я по кускам вытаскивал из сумки...

— Сейчас картошку сварим, — говорит Роза Рафаиловна, оглядывает стол, как полководец, — и вроде все.

— Пора будить его светлость, — буркает Женя.

— Погодите, — говорит Роза Рафаиловна, — может, Валя подойдет.

— Не большой барин, — вмешивается старуха, — люди убивались, а он дрыхни, — и Колю за ногу.

— Отвали, — говорит Коля, глаз не открывает.

— Вот аспид, — удивляется старуха, — ему стол накрыли, из города притаранили, а он...

— Чего надо? — Коля садится, глаза закрыты. — Сказано, не поеду.

— Да куда тебе ехать — во мужика Бог послал! — не отстаёт старуха. — Приехали.

Коля открывает глаза, смотрит на нас, на стол, вскакивает с лавки.

— Вот так номер, — говорит, — когда ж вы?..

— Ты лучше скажи, когда ж ты, — говорит Женя, — не мог дожждаться.

— Да мне и в голову не пришло, чтоб вы... — Коля чешет затылок. — Ну, важно...

— А телеграмму вам не приносили? — спрашивает Роза Рафаиловна.

— Телеграмму?.. — Коля смотрит на старуху, та суетливо отворачивается и семенит на вторую половину.

— Ладно, Коля, — говорю, — приглашай к столу, а то мы пока до тебя добрались...

И вот мы сидим за столом, на нас все сухое, я подпоясал штаны веревкой, босиком, Женя засучил рукава — локти рваные, на Розе Рафаиловне что-то розовое с воланами. Зажгли свечки на пироге, за окном все еще день, Коля во главе стола, рядом Роза Рафаиловна, мы с Женей через стол.

— Садись, мать, — говорит Коля.

— Я не голодная, — ворчит старуха за перегородкой.

— Я говорю — садись, — у Коли голос прозвенел.

Старуха садится на самом краешке, вот-вот вспорхнет.

— А это никак мне?.. — спрашивает Коля.

Возле него на столе стопа синих книг — десять томов. Как же, поминал его лихом, когда вытаскивал из сумки один за другим — вон она, главная тяжесть! — оттирал варенье, тесто, как же ототрешь, блестит на обрезах...

— У нас как-то зашел спор с Николай Степанычем, — Роза Рафаиловна смущена, вспыхнула, как девочка, — я плохо знаю историю, а он знает... Был бы Ключевский, говорит, я бы вам сразу доказал. Вот, Коля, и Ключевский...

— Давайте выпьем, — говорит Женя, — а то я заплачу.

— Может, все-таки подождем, — вздыхает Роза Рафаиловна, — я чувствую, Валя вот-вот...

Старуху сдуло с лавки, а Коля берет бутылку и сдирает пробку.

— Вам водки, Роза Рафаиловна?

— Да, конечно, шампанское мы без Вали не станем открывать.

Я поднимаюсь со стаканом в руке и вдруг чувствую — волнуясь.

— Мы очень трудно добивались до тебя, Коля, — говорю. — Сначала разногласия нас чуть было не погубили, потом жара пыталась остановить, наконец, гроза — а мы посреди нее... Мне даже показалось, знаешь, может, мы все трое... спятили — где мы, зачем?..

— Какая гроза? — спрашивает Коля. — У нас уже месяц дождей нет.

— Ему гроза, — подает голос старуха, она снова присела, держит рюмку, — ему крыша обвалится, хотя бы что, нальет глазища...

— И вот мы здесь, — продолжаю я, — а почему мы здесь? Я об этом, Коля, себя всю дорогу спрашивал. Предупреждали нас, знаки несомненные — что они значат? И вот сейчас, мне кажется...

— Еще не вечер, — говорит Женя, — не торопись.

— И вот сейчас мне кажется, — упрямо продолжаю я, — мне... приоткрылось...

— Мы здесь, потому что Николаю Степановичу сорок лет, — улыбается Роза Рафаиловна, — все очень просто. О жаре и грозе мы давно забыли. Как хорошо! Поздравляем тебя, Коля, будь счастлив...

— Я все-таки договорю, — я ставлю стакан на стол.

— Давай, давай, — говорит Коля, он очень серьезен, — слушаем.

Я пытаюсь поймать ускользающую мысль...

— Ладно, — говорю, — это не для тоста. Мне открылось, а я поднимаю стакан с водкой. На этом нас и ловят, на такой путанице, простых вещей не понимаю, а туда же... Верно, Роза Рафаиловна. Этот бред, который мне... который я ощутил в чистом поле, под опрокинувшимся на нас небом, он, наверное, и есть реальность, а, Коля, ты меня понимаешь?.. Любовь, которая бессмысленна, которая напрасна, в которой нет не только корысти, но и какого бы то ни было результата, все равно ничего не выйдет, не исправишь — только могила исправит. Но разве не она — только она! — и есть истинная любовь? Когда глупость, когда смеху подобно? Разве забыть о себе ради другого — не безумие, а Бог не так ли нас любит, а, Коля?

— Еще не вечер, — повторяет Женя, глядит на меня с усмешкой, — погоди, я еще заставлю тебя поговорить на эту тему.

— Не каркай, — говорю. — Вы правы, Роза Рафаиловна, все очень просто: Коле сорок лет, мы приехали его поздравлять — дай тебе Бог, Коля...

Мы выпили. И старуха выщедила свою рюмку, закусила колбаской.

Коля наливает по второй. Глаза у него прояснели, отвердели, хрящеватый нос побагровел на скуластом, обтянутом, медном лице; левая рука на Ключевском. У пьющих людей часто так — после первой рюмки они и становятся людьми, вот после второй... Да кабы рюмкой, стаканом пьет...

— Теперь мне слово, — говорит. — Ты мудроно сказал, а красиво. И Роза Рафаиловна — просто, а хорошо. Но ведь, верно, простота — это не просто так?..

Вон как мы, думаю, после первого-то стакана!

— У нас конференция, — хмыкает Женя, — симпозиум по стилистике по случаю...

— У меня сегодня день рождения, верно, — перебивает его Коля, — а за два месяца до сего были именины. Я на Николу вешнего. Вот он мой святой, Роза Рафаиловна, — Коля крестится на образ в углу над столом. — Я, верно, люблю историю, мало читал, а люблю. Спасибо вам за эти книги, если прочту...

— Тогда к тебе не подходи, — кивает Женя, он курицей занят, — тогда тебе не бочку возить, а...

— Вот и я хочу про бочку, — Коля не улыбается. — Есть такая история, Роза Рафаиловна, понимаете, как хотите...

До меня вдруг доходит, что он обращается к ней и говорит только для нее...

— Два святых, — говорит Коля, — Никола угодник и Касьян римлянин вернулись как-то на землю, поглядеть, что и как. Идут они, к примеру, где-то неподалеку и видят — мужик застрял в грязи с телегой... Ежели у нас, как вы говорите, была гроза, а когда б дождь неделю — не проехать. Помогите, мол, добрые люди, -- мужик говорит. Касьян глядит на телегу, на мужика в грязюке, на свою одежду сияющей белизны — куда ж ему лезть, как он к Господу Богу потом подойдет? Думал-думал, глядь, а Никола уже по брюхо погрузился, уперся плечом, кряхтит...

— Примитивно, — говорит Женя.

— Просто, — уточняет Коля. — Явились перед Богом — один в грязи, а другой незапятнанный. Тебя, говорит Бог Николе, дважды в год будут поминать, а тебя, Касьян, раз в четыре года, 29 февраля.

— Что вы, Коля!.. — полыхает щеками Роза Рафаиловна.

— За святых не пьют, — говорит Коля, — а вам спасибо, Роза Рафаиловна, жив буду, не забуду...

„Как мы хорошо сидим!“ — думаю. И этот широкий стол под белой скатертью, и колышющееся пламя свечей в раскисшем от дождя пироге, и старуха рядом со мной, оттаявшая, как и все мы, и закат за окнами... Какие мы все разные люди, а ведь сошлись, объединились одним общим чувством...

Я поплыл после второго стакана да и от закуски осоловел, мы с Женей накнулись, как волки. Коля почти не ест, отщипывает по кусочку, зато наливает щедро; разговор уже беспорядочный — как мне его восстановить, надо ли?.. Женя вяжется по мелочам, хочет втянуть меня в давний спор о „делателях“ и „созерцателях“, кажется, я незаметно для себя в нем увязаю; Коля вроде бы затянул песню, Роза Рафаиловна безголосо подтягивает; что-то я все еще ем, что-то все еще пью...

Я вздрагиваю от грохота — гром, собака, входная дверь?.. Окна уже темные, свечи оплыли, еле теплятся, Женя напротив сощурился на меня, ухмыляется, старуха куда-то сгнула, Коля уронил голову на скатерть, рука Розы Рафаиловны у него на плече...

Дверь отлетает, на пороге Валентина. В комнате темновато, свет в сенях у нее за спиной, в мерцающем свете догорающих свечей величественными кажутся руины стола под белой скатертью, наша живописная группа... Она шагает к столу: брезентовая куртка распахнута, высокая грудь вздымается, глаза сверкают, тонкие, как у старухи, губы сжаты...

— Валечка! — вскрикивает Роза Рафаиловна, — а мы ждали-ждали...

— Гуляете? — она разжимает губы, голос хриплый. — Напоили дурака, рады...

— Что вы, Валя, садитесь, — Роза Рафаиловна поднимается, — шампанское вас дожидается...

— Ты уже и платье мое напялила, змея, — шепчет Валя, — в постель норовишь...

— Валя! — всплескивает руками Роза Рафаиловна.

И тут — белобрысый малый перелезает порог, косолапит к столу...

— Митенька! — натужно улыбается Роза Рафаиловна, — вот я тебе привезла...

— Змея, — хрипит Валентина, — не тронь ребенка!.

Роза Рафаиловна не знает, что ей делать. Я поднимаюсь...

— Мать! — кричит Валентина, голос срывается. — Собирай монатки, нас из дому гонят!... Все собирай!.. Ах подлая!..

Она делает еще шаг, хватается скатерть за край, посыпалась посуда, бутылки и — ба-бах!! — шампанское...

— Валя!.. — кричит Роза Рафаиловна.

— Я тебе покажу „Валю”!! — визжит Валентина. — Дом купила, деньги дала — твой, да?!

Малый заорал дурным голосом, Валентина хватается его — и за порог. Оборачиваюсь на Колю, он и не заметил, как из-под него выдернули скатерть, спит, рука на Ключевском... Роза Рафаиловна выбегает в раскрытую дверь. Я следом.

Во дворе темно, свет из распахнутой двери, Валентина мечется по двору, ребенок орет...

— Валечка, успокойтесь, — лепечет Роза Рафаиловна, — мы так хорошо сидели, ждали вас...

Валентина бросает малого, исчезает в темноте, что-то гремит... — тащит на цепи собаку.

— Бобик! — вопит она, — хватай ее, фас, Бобик, вон она, старая блядь!..

Собака смотрит на хозяйку, виляет хвостом, лает, вдруг отпрыгивает и — махом, звеня цепью, бросается на Розу Рафаиловну, становится на задние лапы, кидает передние Розе Рафаиловне на плечи — она выше ее!..

Я закрываю глаза от ужаса...

Тишина. Открываю глаза: пес тихонько повизгивает, лижет Розе Рафаиловне лицо...

— Видите, Валечка... — в голосе Розы Рафаиловны слезы.

— А-а!! — визжит Валентина. — Жидовка, всех купила, ну я тебя!..

Она хватает собаку сзади за ошейник, отшвыривает, вцепляется Розе Рафаиловне в волосы. Теперь они кричат обе, я, как в дурном сне, столбенею, не могу сделать ни шагу... Что-то сбивает меня с ног, валюсь на землю вместе с оторвавшейся перилиной, поднимаюсь... Коля слетает с крыльца — и к ним, хватая, не разобрать которую, и — наотмашь: одну, другую, одну, другую...

Ну, я здесь явно лишний. Забираюсь на крыльцо, вхожу в дом. В голове плывет, звенит... За разгромленным столом Женя, перед ним бутылка, в руке стакан.

— Ну что, — говорит, — продолжим? Насчет любви, которая... И так далее.

Подхожу к столу, забираю из его руки стакан — и сразу, одним глотком...

Помню только, что я твердо, хрустя стеклом, пересек комнату, вошел на вторую половину, приступку я заметил сразу, еще днем, на нее, подтянулся — на печь, что-то зашуршало под руками — семечки, тараканы! — дальше, глубже, печь здоровенная, теплая еще, какие-то тряпки, дух от них горячей пылью, к самой стеночке, опустил голову, все покатилося, загудело — и исчезло.

Белое пламя разрывает небо, оно валится на меня, мне некуда укрыться, не за что спрятаться... Она стоит передо мной, вот она, протяни руку — такая, как в первый раз, как всегда? Я никогда не видал красивей, желанней, дразнящей, только мальчиком в мечтах... „Почему ты вернулась, Таня, мы же расстались?“ — „Кто тебе сказал, — улыбается — у л ы б а е т с я ! — Ничего об этом не знаю. Вот она, я, видишь — смотри...“ — „Нет, — говорю, — мы расстались, навсегда, зачем ты здесь?“ — „Чтоб напомнить. Ты думал, задолжал пустяк, всего пятьдесят... динариев, а про пятьсот позабыл?..“ И опять небо валится на меня, я не успел, мне некуда скрыться... Я в грязи — по брюхо, по шею, и телега вязнет, ступица у моей головы, ползет на меня... Хочу поднять руку, остановить, уцепиться — не могу. Не могу! Кто-то рядом уперся плечом — кто это, не разглядеть, а колесо увязает все глубже и этот кто-то увязает — по колено, по пояс, по грудь, колесо ползет на меня, все ближе, ближе... „А-а!!“ — кричу я. И открываю глаза.

Я лежу на спине, душно, пахнет овчиной, старыми тряпками, пылью. Свет еле пробивается, над самой головой черно; я шевельнулся — под рукой захрустело, зашуршало... И я все вспомнил.

Закрываю глаза: пусть лучше валится небо, пусть грязь по шею, пусть о н а... Утро, думаю, если такая тишина — раннее утро, все спят... Мне становится жарко, приподнимаюсь на локте: в деревне встают чуть свет, сейчас они все зашевелиятся, проснутся, встанут — глядеть им в глаза?!

Осторожно, на спине, перебирая руками, ногами — ползу к свету... Кто-то лежит, приподнимаюсь,

вглядываюсь... Женя! Спит, подложил кулак под голову. Перелезаю через него, нащупываю ногами приступку... Здесь, вроде, никого, чистота — посуда, кастрюли, газовая плита и та — блестит!.. Мои штаны висят с краю, слава Богу, как знал, пристроил на виду, вот и рубашка. Переодеваюсь... Ботинки в печи... Тьфу, Женины... Вот мои, высохли, пересохли... А носки?.. Нет носок, пес с ними. Обуюсь на улице...

Выхожу в большую комнату: стол пустой, чистый, по сторонам не гляжу — не дай Бог их увидеть, только бы не... Но глаза-то у меня есть... Господи, будто ничего не произошло!.. Натыкаюсь на лавку: старуха лежит на ней, укрылась тулупом, один глаз открыт, глядит на меня... Мимо, мимо! Дверь, сени, вторая дверь...

Во дворе совсем светло, сажусь на крыльце, запикиваю босые ноги в пересохшие ботинки, пальцы дрожат, не могу завязать шнурки... Спускаюсь с крыльца...

Собака вывалила голову из конуры, следит за мной одним глазом, как старуха. Погрозил ей кулаком.

Толкаю калитку — ушел! Хотя бы никого не встретить... Один дом, второй, третий... Вот-вот откроются двери, калитки — они все слышали, все знают!.. Вон она, дорога, да и грязи нет, подсохло, что ли, за ночь?.. Поле, за ним... Женщина идет, медленно, коромысло с двумя ведрами... Сворачиваю, не думая, на другую тропу, в сторону, позади домов, потом выберусь — не заблужусь! Тропа виляет, овраг... Глубокий, один край пологий, другой крутой, размытый, внизу, вроде, ручей — вот бы свалились вчера, когда вокруг ничего было не разобрать...

Бежать, бежать! Только бы никого не увидеть!.. Овраг большой, длинный, заворачивает назад к де-

ревне... Внизу останавливаюсь: ручей чистый, на дне песок, камни, становлюсь на колени, вода свежая, аж зубы заломило...

Поднимаюсь по пологому склону, выше, выше — и снова открылось поле, вот она, дорога, в стороне, на самой кромке поля чернеет лес, вчера мы там топали, надо мной небо — чистое-чистое, над лесом светлое, белесое, над головой голубое, а сзади, над деревней, — в синеву... Господи, как красиво!.. Запах густой из оврага, сырой... Вот чего вчера не хватало, потому и мир казался одномерным — запахов не было, духота все пожрала, птицы молчали, а тут... И я вспоминаю, как только что, как же, когда бежал деревней: сеном пахло, навозом, деревьями, каждое дерево — не так, по-другому, а теперь травами, цветами... Да разве мне до того было, когда перед глазами...

Что-то звякнуло, оборачиваюсь: стадо выползает из оврага с той стороны, что ближе к деревне... Господи, коровы — колокольчик на бурой шее! Всех мастей, рога, хвосты, лениво, не торопятся — день впереди...

— Угостите закурить!..

Вздрагиваю, будто поймали на чем-то постыдном. Шагах в десяти на бревне мужик — не старый не молодой, лет шестьдесят, наверно: давно небритый, выгоревшая кепочка на глазах, гимнастерка старенькая, штаны заплатаанные на коленях, сапоги кирзовые... Как же я его сразу не углядел?..

Подхожу, шарю по карманам — есть сигареты! Пачка мятая, сырая...

— Подмокли, — говорю, — вчера в грозу угодил. Спичек нет.

— Найдём, — смотрит на меня из-под кепочки, глаза светлые, промытые, как небо над дальним лесом, а я все усмешку ищу в них — нет усмешки!

Сажусь рядом на бревне, выбираю сигареты посуше, он гремит спичками. Закуриваем... Возле бревна бич — маленькая, тяжелая рукоятка, вытертая, отполированная, плетенный, кольца, кольца — длиннющий... Пастух!

— Ну и гроза была, — говорю, — как живой остался. Теперь, наверно, грибы пойдут?

— Какие грибы, парень, ты что? Чтоб грибы пошли, надо, чтоб неделю лил да не так. Разве то дождь, пыль сбило, гляди вон...

Перед нами поле — редкая картошка, бурая трава, васильки-ромашки...

— Разве это дождь... Тут скотину кормить, не знаю куда гнать, а ты говоришь, грибы...

Ворчит, а мне — хорошо!

— Надо ж, — говорю, — какие у тебя звери, я думал, они только в зоопарках остались, да и то не в каждом городе, где зоопарк. Это коровы, что ли?

— Сам удивляюсь. А ты давно не видал?

— Давно, — говорю, — глазам не верю.

— Плохая твоя жизнь, выходит. Гляди, у нас бесплатно...

Тишина вокруг оглушительная, а в ней — звенит, стрекочет, поет... Небо ясное-ясное, солнце только поднялось, воздух промытый, поле, лес за ним... Гляди сколько влезет — бесплатно!

Гляжу, дышу, слушаю эту тишину, вбираю в себя, пусть бы всю жизнь просидеть на этом бревне... Голова тихонько плывет — от сигареты, что ли?.. Значит, он есть, существует, а я не напрасно ждал встречи с ним, чувствовал, предощущал, знал, что мне он необходим, тот самый мир, что создал Господь из ничего — вот Он дышит над полем, над всем и во всем — продумал всякую мелочь, эти цветы и травы, это странное существо с рогатой головой на толстой шее — вдохнул жизнь в мир, в ко-

тором мне дано постичь вечность... Зачем? Всего лишь для того, чтоб я возлюбил Его и понял Его в брате рядом с собой... В том, что было вчера, узнать Его?! Всего лишь и только! И все сразу изменится: бурая трава, как дождя жаждущая этой моей любви, зазеленеет, потянется к небу, грибы полезут из земли в том мертвом пересохшем, без запахов лесу, которым мы вчера шли, Валентина поклонится земно этой нелепой женщине, Роза Рафаиловна наполнит свою вымороченную доброту истинной любовью, а я навсегда вырву из сердца дразнящую, опутывающую страсть, закрывающую от меня Того, Кем все это живо... И Коля проснется однажды, таким вот утром, стряхнет с себя всю свою страшную жизнь, встанет, распрямится...

— У Николая, что ль, гулял?

Я едва с бревна не свалился, смотрю на него: глаза спокойные, прозрачные, как небо над лесом, мелкие морщины у глаз веером, щетина рыжая, седина поблескивает, носище здоровый в красных прожилках порос бурым волосом... — нет, никакой усмешки!

— У него, — говорю.

— Да... — он вздыхает, не понять: с сожалением, с завистью, уважительно?

Я уже позабыл про поле, про лес, неба не вижу, вроде бы и запахи — пропали... Все позабыл? Что ж я и о том позабыл, что только что понял, открылось — это только похмелье, расслабленность, пустота?... Но ведь мне стыдно, мучительно, горько стыдно перед сидящим рядом со мной человеком, неведомым мне моим братом, я смертельно боюсь, что он знает — это я повинен в том, что произошло вчера, по соседству с ним?... Мои пятьсот динариев, которыми задолжал, даже если мне их простят, а забыть не дано; того, что слишком долго думал перед тем,

как шагнуть в грязь, а в ней на моих глазах увязал...

Он докуривает сигарету, поплевал — и об каблук:

- Да, — качает головой: уважительно, нет сомнения, — хорошо гуляли!..

1981, июль-август

Из книги «Картонные личины»

ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЕВУ

Камо грядеши народ мой камо грядеши
Народ мой печальный в тоске изначальной
Короб небес проломился
И в огненной бреши
Отрок грядет сребролицый
В порфире венчальной

Было: крамола и глад и кремешная смута
Казнь духовидцев побитие жен-мироносиц
В бархатном рубище
С нищей клюкой и разута
Корчилась Русь
За решеткой своих чресполосиц

С утра России до света как Эос с востока
Ждали Тебя и грызли железные хлебы
Ты воплотившись
На краткие годы в пророка
Вновь отлетел на свое недоступное небо

МОЯ КАЗНЬ

Боюсь я или не боюсь
Перечеркнуть свой бред тягучий
Моя оплеванная грусть
Перегорает в дым созвучий

Не сетуя и не крича
И не взывая о подмоге
Целую руку палача
Лукаво вспомнил я о Боге...

И голова как медный шар
Скатилась к основанью плахи
Палач коснуться разрешал
Кровавых пятен на рубахе

И луч последний вещных сил
Вдруг даровал мне озаренье
Я понял все и ощутил...
Так родилось стихотворенье

Все ложь и блеф. Лишь Бог Отец
И Сын и Дух и мудрость мира
Провидят сущность и конец...
Не сотвори себе кумира

*

„Божественен и вечен Дух”
Неизреченно грозен Логос
В переплетенье этих двух
Глаголов Бога слышен голос

Ты горним светом осиян
Поверх барьеров стран и вкусов
Толкнул в астральный океан
Ковчег сколоченный Иисусом

В Тебе и Запад и Восток
Соединились в перекрестье
Ты новоявленный пророк
Под ипостасным сверхсозвездьем

Пронзающий и вещий зрак
Подъял Ты к Богу из темницы
Ты Воскресенья гордый знак
В венке из терний в багрянице

Крыло архангела простер
Ты над эфирным землепадом
Возжег мистический костер
В стенах искуемого Града

*

Русь. Захолонувшая равнина.
Виселицы. Снежные заносы.
Бродят по страницам Пу Сун-Лина
С посохами мудрые даосы.
Фей-лисы дарят людям ласки.
Нежные, одна другой пригожей.
Господи, да за такие сказки
Я готов расстаться с белой кожей,
Стать шеньши в замызганном халате,
Складывать стихи витиевато...
Чем поэт бедней и бесноватей,
Тем его искусство больше свято...
Мозг кусают злые мысли-трутни
И жужжат в болезненном круженье.
Перетрутся скоро струны лютни.
Дао призывает к погруженью.
Отложу я томик Пу Сун-Лина.
Разболелись тусклые гляделки.
Жизнь моя — бездарная картина,
Копия, базарная поделка.
Вешают такие в сельских чайных.
Густо их засиживают мухи...
По заслугам. Карма. Не случайно

Подшутили оборотни-духи.
А ведь не был я обижен Богом —
Суемудрый ласковый повеса —
И владел неповторимым слогом,
Людам верил, не боялся беса.
Но явился бес, увы, без серы,
И не в байроническом обличье.
Испугался я вне всякой меры,
Потеряв последнее приличие,
Кирпичом упал на дно болота,
Ускользнув от лап, завыл, как сука,
И в трусливом пароксизме рвоты
Шкурой понял тайную науку:
Никогда я не имел привычки
Обращать вниманье на воззванья:
„Не давайте детям в руки спички”...
Правильно, сгорят без покаянья.

*

М. Г.

Прогорклой взрослостью подступит седина
К виску души и вытечет из уха.
Пеньковый хлеб души. Зальдевшая страна.
Бесовское смещение духа.

Хромающих стишков одическая рать.
Телесное непостижение Бога.
Читатель-слушатель, мне хочется сказать
И про себя и о себе немного.

Серьезный разговор с эпохой тет-а-тет
Противен мне, как ремесло хирурга.
Паясничал я целых тридцать лет
Под вымышленным небом Петербурга.

Сопричастился мороку скорбей,
Когтивших шкуру Индии духовной...
Посечены мечом и не собрать костей
В воспоминаниях греховных.

Ведь с кровью выблевав жемчужное зерно,
Державной мамой данное в сиротство,
Я в ужасе почувствовал: оно
Вновь прорастает в гены первородства.

Никто России не бежал, увы,
Не прогрызал дубовый лак конуры.
Одни далече — их пожрали львы.
Другие здесь — их поклевали куры.

*

Настанет день предтеча судных дней
Когда уста отверзнет Иегова
И ты поймешь, что ты не иудей
И что тебе не внятно Божье слово

Восплачешь, слезы на землю лия
Воскликнешь: Помилуй Господине
Почто воззвах мя из небытия.
Аз верую в Тебя Преплагий Сыне.

Нахмурится печально скорбный Бог.
Ты захлебнешься вдруг славянской речью
И ощутишь как жалок твой итог
И что Господь един для всех и вечен.

И все равно как называть — Господь
Отец иль Дух, иль Сын иль Вседержитель

Неосязаема Господня плоть
И недоступен взору небожитель

Ты можешь богохульствовать сейчас
Минут года приблизишься к порогу
И принимая чашу в смертный час
Ты в ужасе услышишь голос Бога

*

За что Господь меня сподобил
Понять загадку тихих слов
О том что мир наш лишь подобье
Иных неведомых миров.

Где вне времен пространств материй
И вне логической игры
В огне космических мистерий
Клубятся новые миры.

И где не в нашей тесной сфере
А в холоде эфирных гроз
Сразятся ангелы и звери
Когда восстанет в плоть Христос

О. А. МАНДЕЛЬШТАМУ

„И у костра читает нам Петрарку...”

Тень улыбки пробежала по губам
О туманный пророческий зов
Обвиняется коллега Мандельштам
В сочинении прелестных стихов

Мандельштам златоуст
Искупительная жертва людей
В имени Вашем слышу хруст
Переламываемых костей

Жизнь — неразгаданная молвь
Смерть — немота пустота
Ваша эстетская кровь
Падает в гетев стакан

Вы рассорились с грубым веком
На него замахнулись стеком
Сочинитель пророк педант
Вы под милой фебовой аркой
Там где ворон зловеще каркал
Наизусть читали Петрарку
Рифмоплет трясогузка талант

На балу в салоне в охранке
В Петербурге в тюрьме на Таганке
Вас хранил белокрылый архангел
От безумья коварства лжи...

„Я в мир вхожу и люди хороши”

Из прихожей Вам калоши
Принесет век-волкодав
И вальяжный Макс Волошин
Вас потреплет за рукав

Наше русское раздолье
Наш загадочный народ
„Баратынский из подполья”
Вас в „Собаку” поведет

Там роскошные таланты
Инсценируют грехи
Там Вы выпьете „Спуманте”
И попишете стихи

И если мне придется у костра
Мечтать о миске нищего приварка
То Мандельштама вспомню я сперва
И лишь потом Торквато и Петрарку

КОМАРОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Т. Г. М.

Мной финский берег не воспет:
Залив, и сосны, и поляны,
Где расточился тонкий след
Былых насельников румяных

Уж не звучит Суоми речь
Над этим богоданным краем,
И истлевает русский мечь
Во мху за дровяным сараем.

Расшвыривал т а к валуны
Какой неведомый метатель?
Я — гость полуночной страны,
Пришелец, не завоеватель.

Сюда бегу я, словно тать,
В оцепененье, в пароксизме,
И тут со мной не совладать
Ни откровению, ни схизме.

С собачкой нежной спи, жена,
И не спугни стихотворенья.
Вокруг такая тишина,
Как за мгновенье до творенья.

Луна сквозь стекла метит в лоб
Виршеслагателю угрюмо,
Ведь здесь опущен в землю гроб
Равноапостольной Акумы.

На кладбище — учителя —
Магистры ангельских ликеев...
Благословенная земля
Богов, титанов и пигмеев.

Пол долгой ночи печь топлю.
Дрова чадят. Стихи — насмарку.
За что я родину люблю?
За комаровскую хибарку.

СТИХИ

БОЛЬШАЯ ДОРОГА — БОЛЬШАЯ ПЕЧАЛЬ

1

Большая дорога — большая печаль.
И просишься в путь, и не тронуться вдаль,
Давай... Ты меня помоложе...
Ну что ж ты? Не тронуться тоже?
Опомнись: такая сгущается тьма,
Что скоро по-волчьи завоют дома.
Ты радостный, ты быстроногий...
Ну что ж ты стоишь на пороге?
Зачем ты качаешь опять головой?
Зачем ты снимаешь мешок вещевой?
Все верно. Не мучайся. Сядем.
И старые стены погладим.

2

Так вот что значит слово „навсегда”!
Друзья — поток их горький нескончаем...
О скольких мы вершин не замечаем,
Как поредела горная гряда!
Уходит в ночь вагонное окно,
И самолет исчез в глумливой сини.
А мы домой... Нам скоро суждено
В своей стране остаться на чужбине.

Стою смешной и полуголый,
 Почти не прячась под сосной.
 А дождик редкий и веселый —
 Российский дождик ледяной.
 Иглоукалыwanie это
 Весьма полезно для поэта,
 Особенно, когда поэт
 (Смотри: он здесь еще, он рядом!)
 Запоминает грустным взглядом
 Все то, что видит напослед.
 Он смотрит долго, неотрывно
 На этот холм простой и дивный,
 На кипень белую берез
 И на дощатый дом, который
 Зовет его, раздвинув шторы,
 Охрипнув от внезапных слез.

Вот дом, где мог я жить. Как он закатом
вышит!
 Не вышло. Так всегда. Я к этому привык.
 Горит мое окно. Друзья б сказали: „Пишет!”
 Вот чей-то силуэт за стеклами возник.
 Намеченный едва, действительно похожий,
 Прозрачный и сквозной — он кажется душой.
 А может, это я? Но кто тогда прохожий,
 Стоящий под окном на улице чужой?
 Я в комнате моей, где луч заката бродит.
 У пристани своей. У берега своего.
 Я здесь. Я у себя. А он пускай уходит.
 Я не хочу страдать и думать за него.

*„Облака плывут, облака...”
А. Галич*

Провода гудят, провода.
 „Никогда, — твердят, — никогда”.
 „Возвращайся!” — лепечет сад,
 Зная: нету пути назад.
 Говорит мне ветвистый дуб
 (Он всегда был немного груб) :
 „Будешь плакать лицом к стене,
 Если вспомнится обо мне”.
 Ухожу, а тоска тесна,
 Дни стоят, как в угрюмом сне...
 А ночами лежу без сна,
 Повернувшись лицом к стене.

Милый друг, обрывается нить.
 Вот и не о чем нам говорить,
 Лишь глядим друг на друга в печали.
 Жалок дружбы последний улов,
 Не находим ни мыслей, ни слов —
 Даже души у нас замолчали.
 Но лежит (хоть надежда слаба)
 Где-то там золотая труба,
 И архангел к ней губы приложит.
 И тогда мы сойдемся опять,
 На земле или нет — не понять,
 И узнаем друг друга, быть может.

Друзья уезжают в далекие страны,
 Я тоже пакую свои чемоданы.
 Я дом упакую, я площадь вложу...
 Потом затоскую, но вам не скажу.
 Я вам не скажу, что припрятал ограду
 И нежность к Фонтанке и Летнему саду:
 Пускай полежат они в темном тепле,
 Не зная, что бродят за мной по земле.
 Что можно, с собой захвачу я в изгнание,
 И этим я Божье смягчу наказание,
 И где-то в Париже, у слез на краю,
 Увижу Дворцовую площадь мою.

Хотите, я вам нарисую
 Две лодки и два корабля
 И землю, с которой простился?..
 Пускай уплывает земля.
 Пускай уплывает, не жалко!
 Зачем она машет плащом!
 Полжизни на ней протрубили,
 Полжизни осталось еще.
 Уходит она в повороте,
 Который не преодолеть.
 Пускай уплывает, не жалко...
 Ах, лучше бы мне умереть!

*

*„Ее отъезд был, как побег.
Везде следы разгрома”.
Борис Пастернак*

День был прозрачен, но грозы вихор
Над ним навис, ему наперекор.
День был прозрачен — помнишь, дорогая?
Шел путник, сигарету загасил
И у меня про озеро спросил,
Но в нем еще не чувствовал врага я.
Нет, я еще не знал своей судьбы.
Я говорил: „Здесь полчаса ходьбы.
Сосняк — не воздух, а напиток хвойный.
Вы сможете большой костер разжечь,
А на ночь возле озера прилечь
И отыскать свою звезду спокойно”.
Прохожий, вор, случайный человек,
Он уходил, мне думалось, навек,
Он сразу повернулся к нам спиной.
Он шел беспечно с палочкой в руке...
А где-то гром ударил вдалеке —
И понял я, что это надо мною.

*

На стареньком перроне
Играли две гармони
И говорили правду
Без всяких антимоний.
Они твердили правду
И все вокруг качалось,
И у одной гармони
Дыхание кончалось.

Но со своей бедою,
Как прежде, я не знался,
Как будто бы рукою
От звуков заслонялся.
Я шел один по полю,
Оно у ног качалось
И у него от боли
Дыхание кончалось.

О смысле жизни

Жил-был удав-вегетарьянец. Мясного он ничего в рот не брал, но не из убеждений каких-нибудь или идей, а так... Не хотелось. Да и как-то неловко было бы. Так что ел он в основном огурцы и бананы: на них было удобней натягиваться. Да и вообще материальной стороне жизни удав уделял мало внимания. Потому что была у него всепоглощающая страсть, а уж вы сами можете себе представить, что это такое, когда страсть поглощает удава! Он любил смотреть на кроликов.

Да вы погодите улыбаться понимающе! Сказано же вам: вегетарьянец, и сказано: смотреть. Он смотрел на них платонически. Вам, может быть, это трудно понять, но вы все же постарайтесь: сидит себе такой беленький, жует ротиком, и ушки дрожат... Ах ты, персик!

Ну вот, вы опять. Но ведь когда вам было три года, и ваша эмоциональная тетя хватала вас в объятия и причитала: „Съем тебя сейчас”, — вы же ее ни в чем таком не подозревали! Умели, стало быть, понимать разницу!

Так вот, очень удав любил и страдал. А страдал он в основном от того, что кроликов видел исключительно редко, ну раза два в год! И действительно, где сейчас увидишь кроликов? Был, конечно, идилот, который посоветовал удаву сползать на базар с

утра пораньше, и удав там действительно нашел кролика, но вы представляете, в каком виде? На грязном прилавке, у грубой бабы, пять рублей кило — при всеобщем поругании — что там лежало! Я уж не описываю, что творилось с удавом. Если вы чуткий человек, вы поймете.

С тех пор удав вообще не любил бывать на людях, но по телевизору кроликов показывали редко, да и все не то это было. Так что само по себе странно, отчего вдруг в пятницу 18 марта удав оказался в числе посетителей цирка, а именно этот вечер и перевернул всю его дальнейшую жизнь.

Ну, что там было в первом отделении, я пропускаю — все это мы хорошо себе представляем — а вот во втором! Второе, впрочем, тоже началось достаточно банально. Ну фокусник, ну в черном плаще из подкладки. С палочкой, разумеется, и в цилиндре. Но вот он снял этот цилиндр, и запустил туда бледную руку, и достал его! Беленького! С лапками и глазками, и, главное, с ушками! И он сидел на тумбочке и кушал морковочку! В этот вечер сердце удава было так переполнено, что больше он уже ничего не видел. Он был счастлив, он всех любил, и продолжал любить даже по пути в гардероб, а уж вам ли не знать, что гардеробную толпу любить почти невозможно! Но он не раздражался, он был светел и кроток, только жаль было всех почему-то. Бедные, бедные, вот ведь толкаются, сердятся, а что с ними будет через пятьдесят лет!

Дома удав не спал ночь. И утром, даже не пивши кофею, ринулся немедленно покупать цилиндр. И только раз остановился по дороге — что-нибудь ласковое сказать раннему дворнику, поливавшему румяную улицу. И в семь утра был уже под магазином. Да-да, вы совершенно правы: а открывается

в десять! Конечно, в холодном состоянии души такое несложно сообразить, и тогда уже совсем просто проснуться в обычное время, да почистить зубы, да позавтракать, да уходя осмотреть себя в зеркало, а потом уже, к десяти, отпрашиваться с работы! Конечно. Кто с вами спорит.

Но удав пылал и сгорал под магазином — все три часа! — и можете быть уверены, что никакого исключения для него не сделали, и не только ни секундой раньше не пустили, но напротив, задержали открытие на три с половиной минуты. Цилиндров же, разумеется, в продаже не было. И напрасно удав доказывал, что ему все равно, какой размер, но обязательно, чтоб черный и атласный, — стервозная блондинка, даже головы не поворачивая в его сторону, все долдонила свое „у нас не бывает”. Стоит ли упоминать, что и в других магазинах удав ничего не нашел, даже с нагрузкой и переплатой.

Он воротился домой и печально свернулся в углу. Он не ел в этот день ни огурцов, ни бананов. И на следующий тоже. Он вообще ничего не ел, а на кухонном столе так и стоял отрешенно стакан с недопитым кофе. В конце концов друзья забеспокоились, забегали, напряглись — и по великому благу, через длинную цепь одолжений раздобыли наконец черный атласный цилиндр. Уж не знаю откуда — то ли из костюмерной, то ли из кунсткамеры. Настоящий. На белой подкладке. И воспрявший удав, забыв даже поблагодарить, ринулся к нему, вожделенному, и замер в ожидании. Но не появились над краем цилиндра дрожащие ушки, и вообще ничего не появилось: пуст был цилиндр, холоден и официален — как ему и должно быть.

Удав, вопреки ожиданиям, не пал при этом духом, и худшие опасения друзей отнюдь не подтвердились — напротив, удав стал душевно спокоен,

сосредоточен и внешне вернулся к прежнему образу жизни. Поскольку он знал, что великая страсть способна двигать судьбой.

Он смотрел на цилиндр часами, он понял, что просто еще не умеет смотреть, но ни капли не сомневался, что в один прекрасный день посмотрит Должным Образом. И, конечно, этот день наступил, и был и вправду прекрасен.

Беленький и дрожащий выскочил из цилиндра — прямо лапками на скатерть! — и встретился глазами с удавом, и в самозабвении двинулся к нему! Тут произошла заминка. Кролик неуверенно топтался вокруг удава, что-то, видимо, шло не так, а удав, ничего не замечая, умиленно и нежно смотрел на него, на его ушки и хвостик. Знаете ли вы, что кроличья лапка приносит счастье?

Кролик тем временем все больше озадачивался, но ничего не совершалось, и так, в трансе, он вышел в конце концов на улицу и двинулся по ней, не осознавая себя. Его что-то мучило, какой-то смутный долг и призвание, и всю оставшуюся жизнь этот кролик метался и изводил себя вопросами, не зная, к чему приложить свои жизненные силы. Все хотелось какого-то дела, осознания, что живешь на свете не напрасно, а под вечер, когда подступала жертвенность и тревога, все вокруг казалось так пошло и мелко, и ощущение того, что никому он не нужен, и нет ничего впереди, и в душе — пустота, заставляло его не по-кроличьи плакать. Временами мерещился ему другой мир, далекий и светлый, — мир, в котором нет сомнений, в котором все живо и исполнено смысла. Но где путь туда?

А удав, счастливый и тихий, каждый вечер смотрел на цилиндр, и каждый вечер вылезал оттуда кролик, топтался и в конце концов уходил очумело. Где-то, наверное, эти кролики встречали друг

друга, и вместе вздыхали, и о том же вели разговоры, и жали слабые лапки.

Голос

Да, был-таки, был этот пустячок за Андреем Ивановичем, что уж тут отрицать, — водился! А с другой стороны — сами посудите, что ж особенного? Сплошное естество, и кто бы удержался на его месте — из тех, конечно, кто вообще бы сообразил?

Как человек разумный, Андрей Иванович смолоду еще изучил до тонкостей женскую психологию — и тонкостей этих там нашел всего две. В частности, он знал, конечно, что нежный этот пол претендует на сверхъестественную чуткость восприятия, и поэтому каждая вторая прикидывается ведьмой, в то время как является таковой не более, чем каждая тридцатая.

И что ж тут удивляться, если он в подобном общении вовремя вздрагивал и расширял зрачки, отшатывался, заслоняя ладонью глаза, а иногда даже грохался на колени? Это же хрестоматийно, что никакая женщина не обидится, если поднять ее к телефону в полтретьего ночи и, дыша взволнованно, долго спрашивать, все ли в порядке — приснилась, мол, как-то тревожно — вот и томит предчувствие, прошу прощения за поздний звонок. Если что, я хватаю такси и приезжаю... Нет-нет, я вас уверяю, что ни одна не обидится, а, напротив, будет еще и польщена.

Так что вечером 1981 года Андрей Иванович, магнетически держа Лизаньку за запястье, шептал отрешенно:

— Верите ли, Лизанька, у меня есть такой внут-

ренный голос, и он никогда мне не лжет и солгать не даст... Так вот, хоть не мне, но ему поверьте...

И все. И кончилась если не счастливая, то нормальная, по крайней мере, жизнь Андрея Ивановича! Ухнула, и нет ей вовеки возврата! Потому что в самый этот момент грянуло откуда-то изнутри Андрея Ивановича грубое „ВРЕШЬ!“, да с такою громкостью, что бедный Андрей Иванович замахал руками, оглох и ослеп.

Приходил он в себя медленно и по частям, а когда пришел окончательно, то на кухне уже никого не было, а все танцевали в гостиной, погасив предварительно свечи. Тут Андрей Иванович осторожно ощупал затылок, но ничего не ощутил, потому что немедленно его настиг издевательский вопрос:

— А что бы ты, собственно, хотел там найти?

— Ась? — только и нашелся ответить Андрей Иванович и понял, что начинает сходить с ума.

— Велика потеря! — неуважительно фыркнуло у него внутри, но представиться не сочло нужным. Короче говоря, в тот вечер Андрей Иванович действительно обрел свой Внутренний Голос, но лучше бы он этого не делал.

Следующий день был понедельник, и невыспавшийся Андрей Иванович ехал себе на работу, тяжело повисая на поручне, когда автобус заворачивал. Конечно, его спросили, нет ли лишнего талончика, и он ответил машинально „нет“ — и был немедленно сбит с ног новым громовым „ВРЕШЬ!“. Характерно, что никто из окружающих вроде бы ничего не слышал, и стон и падение Андрея Ивановича отнесли на счет внезапной остановки машины. Встрепанный Андрей Иванович в изумлении спросил Голос:

— Вы чего это?

— А не ври, — непреклонно ответил Голос, но тут

же смягчился и позволил в дальнейшем обращаться к себе на „ты”.

— Да что ж тут такого, — пробовал оправдаться Андрей Иванович. — Что ж, я ей должен был объяснять, что у меня только один на обратную дорогу и остался?

— Это уж твое дело, чего ей объяснять, — отвечивал Голос. — А про вранье забудь, по-хорошему предупреждаю. Ведь учили ж тебя папа с мамой!

Андрей Иванович пробовал припомнить, чему его учили, но от этого легче не стало, и чем дольше он думал, тем обиднее ему становилось. И в конце концов не сдержался и вскипел в мятеже Андрей Иванович:

— Да что ж это за рабство такое?!

— Рабов лупили, а я тебя, дурака, — воспитываю, — немедленно отозвался Голос, чем возмутил Андрея Ивановича еще больше.

— Спасибо за такое воспитание! Что ж, я теперь уже не имею права...

— А за какое ж это право ты, голубчик, так цепляешься? Ну-ка, ну-ка, сформулируй! — оживился Голос, и тут Андрею Ивановичу стало как-то неудобно, и угас в нем нечувствительно первоначальный бунтарский дух. Голос, впрочем, не стал добивать лежачего, и до работы они дошли тихо и мирно.

— Действительно, — думал Андрей Иванович, — привычка-то гадкая, да и не привычка это вовсе — так, иногда сорвется... Несложно будет и воздержаться. Как-никак, я не аферист и не взяточник, нормальный порядочный человек... Ведь порядочный же? — взмолился Андрей Иванович, но Голос на это промолчал, что и было сочтено беднягой за знак согласия.

Рабочая неделя начиналась, как всегда, с полит-

информации, и на этот раз выступать было Андрею Ивановичу.

— Хорошо еще, что подготовился, — подумал он, — не придется выкручиваться!

И, бодро развернув газету, он начал читать, как действия чуждых социализму сил идут вразрез с польскими общенародными интересами, но не дочитал.

Очнулся он, когда всем отделом поливали его из графина, а начальник участливо спрашивал: „Что? Сердце?“, — всем видом выражая готовность отпустить Андрея Ивановича домой. Но подтвердить, что да, сердце, Андрей Иванович не посмел, а насильственно улыбнулся и сказал, что теперь уже все прошло.

— Ну а теперь-то что не так?! Где я соврал? — внутренне возопил Андрей Иванович немедленно после того, как его оставили в покое.

— Вот во второй фразе и соврал, первая-то была еще ничего, — с готовностью ответил Голос. — Да ты мне газетку не тычь, врет твоя газета!

— А мне же откуда знать? — впал в окончательное недоумение Андрей Иванович. — Я ж там, в Польше, не был!

— А не повторяй, чего не знаешь. Политинформацию ты делаешь или кто? — сурово отрезал Голос, и этим окончился разговор.

Нетрудно теперь сообразить, какое безобразие началось днем и ночью для Андрея Ивановича. Прежде всего выяснилось, что он понятия не имеет, сколько раз на дню ему приходится врать, и в каком именно случае он врет, а в каком говорит правду.

— Да ты не смущайся, я тебе обозначу, — обнадеживал его Голос, но вы сами можете себе представить, до чего слабо это могло утешить. Потому что

в каждом конкретном случае Голос действительно обозначал, и хотя Андрей Иванович уже достаточно приспособился к акустическим ударам, чтобы не валиться с ног, но с каждым разом ему становилось все обиднее. Как щенка, за шкурку! Всем, видите ли, можно, а Андрею Ивановичу, видите ли, нельзя!

— Да, тебе нельзя, — спокойно подтверждал Голос и в дальнейшие дискуссии не вступал.

— А когда заставляют?

— И когда заставляют, нельзя.

— Да отвяжись же ты от меня, проклятый! — вылетал вопль из души Андрея Ивановича и, беспомощно хлопая крылышками, кувыркался в безвоздушном пространстве. Но, как легко догадаться, тщетно. Тогда Андрей Иванович пустился на хитрость. Соображая, как бы можно спрятаться от Внутреннего Голоса, он решил изнутри прикинуться кем-нибудь совсем другим. Это, по его расчетам, должно было сбить Голос со следа. Для пробы Андрей Иванович внутренне расправился, поглупел, раздул щеки — и превратился в собственного своего начальника Петра Ильича. И действительно, помогло, и даже пару раз удалось соврать — без особой нужды и охоты, а просто так, для пробы. Голос действительно отрешился и пропал, и все было хорошо, пока Андрей Иванович не пришел на работу и не увидел несчастного, задерганного Чижикова, которого начальник в ту пору люто ел. Повести себя с ним как Петр Ильич Андрей Иванович просто не мог, и плюнул на все, и пожал ему локоть, спросил про детишек и выслушал все подробности про всех троих.

— А, наконец-то объявился! — удовлетворенно проворчал Голос, и вся хитрость Андрея Ивановича пошла прахом.

Позже он пробовал еще становиться маленьким

Андрюшей, это было совсем не противно, да и Голос смягчался и выбирал выражения, но маленькому Андрюше было не по себе во взрослых делах и склоках, он скоро уставал и начинал плакать. Так что этот путь Андрей Иванович отставил как нечестный. Тогда им овладело благородное безумие.

— Хочешь? Получай! — мысленно приговаривал он и резал правду-матку так, что шорох кругом стоял.

— Ну, — говорил Голос с оттенком удивления, — ты даешь!

И Андрей Иванович действительно давал. Вскоре у него накрылась кандидатская, из младших научных его подвинули в лаборанты, женщины все как-то рассосались, и осталась одна, сама не понимающая, что, собственно, она в нем находит.

Ей Андрей Иванович про свои горести не рассказывал, она узнавала стороной, и тогда грустила, а Андрей Иванович начинал героически врать, что все это временно и вообще все хорошо.

— Что ж ты тут не орешь, гад? — хамил он Голосу, — давай, включай свою акустику!

Но как он ни надрывался, Голос в таких случаях только хмыкал в ответ, а отыгрывался на чем-то другом. Так этот кошмар длился около года, и Андрей Иванович отощал, взлохматился, а уж начинал и бросал курить несчетное число раз. И вдруг — потому что никакие мучения не вечны — Голос куда-то канул, и однажды утром Андрей Иванович его более не слышал, и так, не слыша, проходил весь день. Пару раз в спорных ситуациях он, как обычно, пробовал поторговаться с Голосом, будет это или не будет враньем, но ответа не получил, и повел себя на свое усмотрение. И опять-таки — никакой реакции!

Такая безучастность даже обидела Андрея Ивано-

вича и подпортила ему радость освобождения, однако он все же ликовал до самого вечера, а там опять сник. В конце концов, это свинство — втравить его в кучу таких проблем, а потом оставить без ответа! Хорошее дело — разбирайся теперь сам как можешь, поговорить и то не с кем!

— Вот возьму — и опять стану врать, как нормальный человек, — мстительно подумал Андрей Иванович, но знал уже, что не станет. И знал, что теперь-то только и начнется, да еще найдет ли он свою правоту, а когда найдет, то выдержит ли все, что за этим последует. А впрочем, должен выдержать, кто он такой, чтоб не выдержать — ведь держался же до сих пор!

— Подумаешь, снял намордник! Пусть не воображает! — разгорался Андрей Иванович, неизвестно кому адресуя свою обиду, а впрочем, уже догадываясь — кому.

14 ноября 1981 г.

СТИХИ

*

С годами каждая весна
Священной и мудрей.
Весною надо познавать,
Как жить и умереть.

Она щедра к своим сынам,
Но и строга,
Она ломает руки льдам
И берегам.

Она начало и конец —
С закатом слить рассвет —
И очищение сердец,
И горечь долгих лет.

Она не терпит черных снов,
Священна и мудра,
Научит всех — ей все равно! —
Как жить и умирать.

9/III—73

*

Когда средь мрака колоннады
Ступаю тихо, чуть дыша,
Какой загадочной громадой
Становится моя душа!

Она вместит безмолвье мира,
Немые жалобы его,
Простит подарок Деянире,
Припомнит Нессу торжество.

Вместит насмешки злых пророков,
Удары хлесткие в лицо:
Друзей напрасные упреки,
Добросердечье подлецов.

Вместит глухую боль разлуки,
Последний взгляд и шепот губ...
Поймет неведомые звуки
Зовущих в выси звонких труб.

Узнает нового Мессию,
Стряхнет жестокие года...
И только боли за Россию
Вместить не сможет никогда.

8/I—74

*

Стихи мои! Всю нежность сохраняя,
Когда мороз коростой кожу скрутит,
Снежинкой тающей вы тронете меня,
И выбьется побег на голых прутьях.

И если мне настанет срок уйти
В лиловый снег осин и в иней черных
елей,
Вы за меня прошепчете „прости”
По всей земле ликующей капелью.

8/XII—74

*

Я говорил так много и так пёстро,
Что слов простых едва ли не забыл.
Так, драматург и зритель, Калиостро
Не знает сам, где сказка, а где быть.

Сказать, как плачет ветер под сурдинку
Такой неожиданной толики тепла?
Сказать, что небо чисто, словно льдинка,
Что на ладонь чуть талая легла?

Сказать, что даже камни благодарны
Мгновеньям и векам, когда для них
Единожды возможно полноправно
В предвечной мгле зажечь свои огни?

Но не умею я всему, что просит,
Жизнь — вещество и форму — даровать.
На месте неумелых наших просек
Уже не лес, а мертвые дрова.

22—24/IX—75

*

Что может быть страшнее мертвых
дневников,
Воскресшей памяти, живых черновигов,
Где каждая строка зияющей страницы —
Тропа над пропастью!? — Но вечно будет
сниться,
Как долог путь в ночи, как близок был
прорыв,
И как добычу ждал чернеющий обрыв,
Когда водитель мой повел машину юзом,
И встала смерть у бездны многотонным
грузом.

Но горы жутче есть и гибельней мосты...
Прочь, прочь! проклятые, прекрасные листы!

26/XII—76

*

И. Ш. на 27 декабря 1976 г.

Сегодня торжество. Мы пьем за счастье!
Пусть жизнь кипит, бокалами звеня!
Пути далеки, за окном ненастье —
Повременим у юного огня!
Снимайте сюртуки тревоги душевной,
Как наш хозяин радужно радушный.

Но тем ценнее каждый миг и час
Привала беззаботного, чем горче
Сознание, что отдых не для нас,
И только грозы делают нас зорче.
Так пьяными стать можно без вина,
Но трезвость нам сегодня не нужна.

О чем я? — Вижу: это пахарь-время
По полю судеб движется, трудясь.
То там, то здесь роняет тихо семя:
На сочный пласт, на щебень и на грязь.
И мы придем еще сюда когда-то,
Чтобы узнать, чем были здесь богаты.

Для каждого настанет этот день:
Немое утро в окна, в двери, в щели
Ворвется ливнем, вырастет из стен
И поведет опять к забытой цели.
Там мы увидим незнакомый сад
Между каналов, парков и оград.

Там все цветы — с могилы Петербурга:
Лиловых роз и алых лилий сноп,
Там причитают жалкие фигурки —
Больного века тягостный озноб.
Но нежно знать, что на печальном берегу
Растут живые памяти побеги.

Сорвем один, склонимся над вторым,
И тишину наполнит голосами,
И мир покажется чуть-чуть иным.
Как все знакомо! Только где ж мы сами?
Не этот ли счастливец молодой,
Что привкус горечи зовет бедой?

Забавник он! Ведь всякая потеря
Стократ вернется в крепкостенный дом,
Ведь он живет, — борясь, мужаясь,
...
веря! —

И может все преодолеть трудом.
И разве сделанное им не стоит
Того, что иногда под сердцем ноет?

...Пройдет, быть может, очень мало лет,
И в первый раз такое нам приснится.
Тогда заветной дверью в сладкий бред
Послужит эта странная страница.
Ее открывший, словно в новый мир,
Заглянет на сегодняшний наш пир.

Так наливайте ж полные бокалы,
Чтоб гость неведомый не загрустил,
Чтоб видел он: всего нам было мало,
Но много было юности и сил.
И если жизнь мятежна и прекрасна,
Огни горят сегодня не напрасно!

22—24/XII—76

*

Вороний грай, прозрачные березы,
А на душе тревожно и светло.
Это изморозь зимней прозы,
Это снегом пути замело.

Из Царского Села до полустанка
Дойду, чтоб возвратиться в город свой,
Чтобы вечер глядел на Фонтанку,
Гул столетия плыл над Невой,

Чтоб пламенели призрачные ростры —
Два канделябра на пиру теней,
Чтоб звенел так пронзительно остро
Чаяк хор под орган площадей.

6/I—77

ПЕТЕРБУРГ

Скользко, и снежно, и мглисто, и слизко в
проулке.

Марлей тумана завешено в море окно.

Коридором квартирным в большой
коммуналке по струнке

Линий трамвайных протянуто дней полотно.

Оно по-сырому (как соль — по-живому) —
серо от пыли чердачной

И мылом пропахло, увы, тридцать третьего
года весны.

Две тысячи лет, два столетья, два месяца
(к счастью — вчерашних),

Два мига, два мира...

Но неповторимы сыны,

В двойственном оном живущие в Риме
последнем!

Время не чище, чем руки. И так же бессильны
слова,

Как и тогда, как всегда... Метафизический
ледник

Стынет меж ребер мостов, и в беспамятстве
стонет Нева.

26—27/XII—80

ЧИТАЯ БУНИНА

Страна моя не умерла,
Испив запас земного яда,
Но от двуглавого орла
Осталась только зоркость взгляда:

Ни крепкой верности гнезда,
Ни крыл державного размаха —
Пятиконечная звезда
Кроваво-грязная, как плаха.

Но клекот слышится опять,
И крепнет в горних наша сила:
Не чтоб былое возвращать —
Грядущее чтоб тьмой не скрыло.

25/V—81

Мария ШНЕЕРСОН

Великое противостояние душ

„Не по рождению, не по труду рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ. А — по душе. Душу же выковывает себе каждый сам, год от году. Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать ч е л о в е к о м. И через то — крупницей своего народа”.

А. Солженицын. „В круге первом”.

..., „Новый мир”. 1962 год. Одиннадцатый номер.

Берешь его с полки, и охватывает какое-то благоговейное чувство: в твоих руках — частица живой истории!

Одиннадцатый номер открывается стихами Межелайтиса. Там есть такие строки:

И человек пробуждается.
Ведь когда человек
хочет стать человеком,
он должен проснуться...

Прошло двадцать лет с тех пор, как в ноябрьском номере „Нового мира” за 1962 год был опубликован „Один день Ивана Денисовича” — произведение, ставшее поворотным пунктом в истории современной русской литературы и общественной мысли. Через два месяца, в январском номере того же журнала за 1963 год, были напечатаны „Матренин двор” и „Случай на станции Кречетовка”, окончательно упрочившие авторитет и славу писателя.

Слова поэта кажутся не случайными в журнале, где впервые появилось дотоле нам незнакомое имя: С о л ж е н и ц ы н.

Это было поворотным событием не только в истории русской литературы и общественной мысли, но и в истории духовного развития соотечественников писателя. „Писать так, как писали еще недавно, уже нельзя”, — сказал Г. Бакланов, прочитав „Один день Ивана Денисовича”¹. Помнится, кто-то добавил: „И думать так, как думали мы до Солженицына, больше невозможно!”

Многотрудный путь исканий русской интеллигенции начался, конечно, еще раньше. Но рассказ о ээке Щ—854 явился значительной вехой на этом пути. С тех пор прошло два десятилетия. Но память о нашей первой встрече с Солженицыным жива и поныне.

*

Когда впервые читали мы „Один день Ивана Денисовича”, а затем рассказы „Случай на станции Кочетовка”² и „Матренин двор”, появившиеся в первом номере „Нового мира” за 1963 год, нас втягивал в свою орбиту художественный мир каждого из этих рассказов, и связи между ними мы не

За прошедшие 20 лет имя А. И. Солженицына стало символом неуклонного развития традиций русской литературы — постоянного, бескомпромиссного искания правды. В то же время, конечно, все творчество автора „Одного дня Ивана Денисовича” стало заслуженно рассматриваться в мире как подлинное выражение современной русской национальной культуры.

В связи с этим юбилеем мы публикуем посвященную первым повестям А. И. Солженицына главу из готовящейся к печати в изд-ве „Посев” книги М. Шнеерсон „Дар духовного подвига (Очерки творчества Солженицына)”. — Р е д.

ощущали. В каждом из них разворачивались настолько острые, настолько своеобразные драматические коллизии, что при первом чтении трудно было уловить какое-либо единство между ними. „Все три произведения были совершенно разными и как бы принадлежали к разным ветвям его творчества”, — писала Н. Тарасова вскоре после появления рассказов³. Да и в дальнейшем вопрос об их единстве остался открытым. „Можно ли установить внутреннюю связь между этими тремя вещами? — спрашивает Л. Ржевский и отвечает: — Можно, вероятно, только предположить этот путь”⁴.

Действительно, и герои, и события, и место действия в рассказах Солженицына совершенно различны. И все же перед нами — как бы три акта единой драмы, связанные общим подводным течением. Эти три рассказа — своеобразный триптих. Они похожи на трехствольное дерево, корни которого переплетаются где-то в глубоких недрах земли.

Центральная тема рассказов — старая тема русской литературы: мертвые души и души живые. „Один день Ивана Денисовича” — рассказ о душах, оставшихся живыми даже в атмосфере Мертвого дома. „Случай на станции Кочетовка” — рассказ о загубленных душах целого поколения, о возможности или невозможности их пробуждения. „Матренин двор” — поэма о душах праведных, о судьбе их в мире мертвых душ.

Прослеживаются связи и иного рода: „Случай...” — рассказ о том, как неповинные люди попадали в лагерь; „Один день...” — о жизни в лагере; „Матренин двор” — о жизни после лагеря (рассказчик поселился у Матрены, отбыв лагерный срок).

Есть и другие темы и мотивы, переходящие из рассказа в рассказ. Причем именно в „Одном дне Ивана Денисовича” можно обнаружить зерна, из

которых вырастают две другие части солженицынского триптиха. Повествование о зэке Шухове — его центральная часть.

Так, история Матрены как бы вводит нас в мир шуховского Темгинева, в мир колхозной деревни, который смутно рисовался в „Одном дне...” на заднем плане, где-то далеко за лагерной зоной.

Связан и „Случай...” с „Одним днем...”: и тут, и там звучит тема войны. В первом из этих рассказов становится доминирующей еще одна тема, лишь косвенно затронутая в рассказе о судьбе Ивана Денисовича. Трагическая история Тверитинова, как и история Шухова, обнажает язву, разъедающую души советских людей: язву подозрительности, тотального недоверия всех ко всем.

Единую философскую основу первых трех рассказов Солженицына заметил еще Аркадий Белингов: „Талант и смелость Александра Солженицына проявились в том, что он (...) стал говорить голосом великой литературы, главное отличие которой от литературы незначительной в том, что она занята категориями добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношениями человека и общества, власти и личности. Он написал повесть об О д н о м 'дне', и рассказы об о д н о м 'дворе' об о д н о м 'случае'. День, двор и случай Александра Исаевича Солженицына это синекдохи добра и зла, жизни и смерти, взаимоотношений человека и общества”⁵.

СОХРАНИТЬ ДУШУ ЖИВУ...

Фет сравнивал поэзию Тютчева со звездным небом: чем дольше в него вглядываешься, тем больше звезд видишь. Это сравнение приходит на па-

мать, когда перечитываешь „Один день Ивана Денисовича”.

Впервые познакомившись с ним, мы были настолько потрясены картиной лагерной жизни, что она заслонила в нашем сознании многие другие стороны произведения. Перед нами вставали тени близких, замученных в лагерях, мы только теперь начинали понимать всю меру их страданий, с новой остротой переживали их гибель. Ни одно произведение не вызывало такой острой боли, такого глубокого сопереживания.

Шли годы. Мы прочитали „Архипелаг ГУЛаг”, „Колымские рассказы” В. Шаламова. И трагедия, открытая Солженицыным в его первом печатном произведении, потускнела на фоне более страшных мартирологов. Но не только не потускнела художественная ценность „Одного дня Ивана Денисовича”, — она стала со временем еще более ощутимой. Перечитывая эту вещь, мы находим теперь в ней такие глубины, каких не могли заметить при первом чтении.

*

Многое помогает понять история создания „Одного дня Ивана Денисовича”. „...Как это родилось? — рассказывает Солженицын. — Просто был такой лагерный день, тяжелая работа. Я таскал носилки с напарником, и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей — а достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра до вечера. И будет все. Ну, конечно, тогда было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака”. И лишь в

1959 году писатель вернулся к старому замыслу. „Сел, и как полилось! Со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней”⁶.

По сути дела, в воспоминаниях писателя об истории создания его произведения раскрывается одна из характерных черт поэтики Солженицына, о которой потом будут говорить многие критики, — „необычайное уплотнение событий во времени”⁷.

Черта эта особенно явственно проявилась в „Одном дне Ивана Денисовича”.

Сюжет рассказа ограничен узкими временными рамками: один день. Пушкин говорил, что в „Евгении Онегине” время расчислено по календарю. В рассказе Солженицына оно расчислено по циферблату. Движение часовой стрелки на протяжении одного дня становится сюжетообразующим фактором.

О неких временных категориях говорят и начало, и концовка рассказа. Его первые слова: „В пять часов утра, как всегда, пробило подъем...” Последние слова: „Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних надбавлялось...”

То, что структура рассказа определяется движением времени, вполне закономерно. Ведь для ээка главное — срок. А срок состоит из сотен таких же дней, как и тот, что мы пережили вместе с героем рассказа. И хоть надоело ему их считать, но где-то подсознательно, в глубине души работал некий метроном, настолько точно отмерявший время, что даже три лишних дня он отметил среди сотен других.

В рассказе прослеживается жизнь ээка час за часом, минута за минутой. И — шаг за шагом. Место действия столь же важный фактор в этом произве-

дении, как и время действия. Начало — в бараке, потом — в пределах зоны, переход по степи, строительный объект, снова зона... Движение, начатое на узком пространстве клопанной вагонки, завершается на ней же. Мир замкнут. Обзор ограничен.

Но весь этот предельно бедный микромир — только первый круг, расходящийся по воде от брошенного камня. За первым, все дальше и дальше, расходятся другие. Время и пространство раздвигаются за пределы лагеря, за пределы одного дня. За днем встают десятилетия, за малой зоной — зона большая — Россия. Уже первые критики подметили: „Лагерь описан так, что через него видна вся страна”⁸. Да и судьба зэка Щ-854 становится (выражаясь словами Пушкина) воплощением „судьбы человеческой, судьбы народной”.

*

Многочисленные детали, рассыпанные на страницах рассказа, воссоздают жизнь советской деревни⁹. Прежде всего, мы убеждаемся, что в душе крестьянина Шухова навсегда засела неприязнь к колхозному строю и к тем, кто его навязал народу.

Вспоминает Иван Денисович, как лагерное начальство отобрало у него ботинки и как скинули их в общую кучу. И на память приходит стародавняя боль: „Точно, как лошадей в колхоз сгоняли”. Прямой оценки тут нет. Но чего стоит одно это словечко „сгоняли”! Здесь так сказано про лошадей, а в другом месте — про людей: „Тянут же колхоз бабы, каких еще с тридцатого года загнали, а как они свалятся, — и колхоз сдохнет”. Выразительно и это „сдохнет”.

Немногими штрихами рисует Солженицын вели-

кую трагедию, которая обрушилась на народ в годы раскулачивания и сплошной коллективизации. Вспомним историю бригадира Тюрина. Вернувшись тайком в деревню, он узнает: „Отца уже угнали, мать с ребятишками этапа ждала”. И стал сам Тюрин — работник, голова — лагерным волком, а братишка его меньшей сгинул среди блатных. Это не только трагедия одной семьи. Несколько слов — и перед нами картина общенародного горя: „Все привокзальные площади мужицкими тулупами выстланы. Тут же с голоду и подыхали, не уехав”.

Раскрывается в рассказе и современное положение деревни: „...жизни их не поймешь, — размышляет Шухов. — Председатель колхоза-де новый — так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили — так его и ране укрупняли, а потом мельчили опять”.

Не только Шухов не приемлет колхозную жизнь: „...с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально (...) Мужиков с войны половина и вовсе не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают”.

Советские критики любили говорить, какой, мол, Иван Денисович замечательный труженик. Сцена кладки стен, действительно, самая светлая в рассказе. А по сути дела — едва ли не самая трагическая. Ведь в этой сцене раскрываются потенциальные силы народа, загубленные бессмысленно и жестоко. Страна теряла тружеников, на коих зижделось ее благополучие, погибал земледельческий народ. И Россия — житница Европы — превращалась в государство, импортирующее хлеб.

Ощущается какая-то дикая бессмыслица: кому, зачем надо было уничтожать тысячи людей, каков

смысл этого бесовского глумления над страной, над народом?!

*

Столь же безумная нелепость обнажается в деталях, напоминающих о недавно отгремевшей войне (время действия в рассказе — 1951 год). Мы узнаем, что армия была обезглавлена еще в конце тридцатых годов. Комвзвода, рассказывает Тюрин, получил десятку, комполка и комиссар расстреляны. Лагерь заглывали и простых солдат. Показательна судьба самого Шухова, Сеньки Клевшина и других „деланных шпионов снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленные просто”.

Отдельные детали воссоздают и первый период войны. Отчетливо проступает главное: в поражении, в гибели тысяч и тысяч повинна сама советская власть. Шухов это прекрасно понимает: „...в сорок первом к войне не подготовились”, — говорит он Алешке. Вспоминает Иван Денисович и о событиях сорок второго: „...на Северо-Западном окружили их армию всю и с самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было (...) и стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали”.

В этой трагической ситуации Шухов, как и Клевшин, проявил незаурядное мужество. Вместе с несколькими солдатами он убежал из плена. Вскользь, как бы мимоходом, в рассказе поднимается нравственная проблема, которая ляжет в основу „Случая на станции Кочетовка”: суть советского общества — недоверие к человеку. Чудом спасшегося из плена Шухова объявляют фашистским агентом и сажают за решетку.

Испытав невзгоды колхозной жизни до войны,

узнав почем фунт лиха на фронте, Иван Денисович теперь знакомится с советским „правосудием”. Во время следствия он постигает простую истину: „Закон — он выворотной”. И понимая, что его забьют до смерти, он предпочитает признать себя шпионом.

Но для чего понадобилось „служителям закона” посылать солдата не на фронт, а на каторгу? Человек мудрый, Шухов не задает себе такого вопроса. Он понимает: так уж повелось.

Со страниц совсем небольшого рассказа, рисующего один день из жизни рядового зэка, встает история уничтожения народа — сперва в год „Великого перелома”, а затем в годы „Великой Отечественной войны”. И страницы эти проникнуты ненавистью и болью. Но чей голос мы слышим? чье сердце ненавидит и скорбит? Автора? Шухова?

*

Иные читатели недоумевали, почему в центре лагерной повести Солженицын поставил не интеллигента, а „простого” зэка — бывшего колхозника и солдата. Вот как объясняет это сам писатель: „Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря (как только солдат пехоты может взвесить всю гирю войны)”¹⁰. Но важно и другое: Иван Денисович, по мнению автора, прекрасно разбирается и в том, что происходит за пределами лагеря. „Шухов не промах, — говорит Солженицын, — и судит обо всех событиях посмелей генерала”¹¹. Не забудем и то, о чем уже говорилось в предыдущей главе: автору духовно близок его герой.

Весь рассказ строится как внутренний монолог Ивана Денисовича¹². На первый взгляд может даже

показаться, будто писатель видит и знает лишь то, что видит и знает его Шухов. В действительности это, конечно, далеко не так. Мир автора — огромный, всеобъемлющий — лишь как некую часть вбирает в себя мир его героя. И об окружающей жизни, и о душевной жизни Шухова знает Солженицын куда больше, нежели сам Иван Денисович. Лишь создается иллюзия, будто не автор, а ээк Щ-854 ведет повествование.

Однако в целом рассказ в первую очередь воспроизводит мир Ивана Денисовича, мир близкий, но не адекватный авторскому. Только в редких случаях, когда речь заходит о вещах, Шухову недоступных, включаются реплики других героев (например, Цезаря, его собеседника — московского интеллигента) или авторская речь выделяется с двух сторон многоточием, указывающим на некий разрыв повествовательной ткани.

Шухов — яркая индивидуальность, но, пожалуй, типологические черты в нем преобладают над личностными. В „Архипелаге ГУЛаг”, где не раз слышится голос Ивана Денисовича, Солженицын утверждает, что образ Шухова — обобщенный образ „народа в лагерях”. Говоря о тысячах „погибших Иванов”, писатель вспоминает свой рассказ: „В том-то и мина была 'Ивана Денисовича', что подсунули им просто Ивана”. А миной это оказалось, ибо „первая и главная их ложь в том, что на их Архипелаге не сидит народ, наши Иваны...”

Под народом писатель подразумевает „крестьянство, интеллигенцию, рабочих”. Их-то и не увидели писатели типа Б. Дьякова, Г. Шелеста, Г. Серебряковой, рисовавшие судьбу „партийных товарищей”, лишь по ошибке, попавших в лагерь. „Эти авторы, — говорит Солженицын, — и с к р е н н е

не заметили своего страдающего народа!"

Сам Иван Денисович бессознательно чувствует себя частью некоего целого. Не этим ли объясняется одна особенность повествования: в рассказ от третьего лица автор часто вводит формы первого лица, но взятого во множественном числе: „тут нашей колонне торней стало", „наша была сегодня очередь", „наши пошли". „Мы", „наш" — слышится постоянно, а вот „я", „мой" — ни разу. Голос Ивана Денисовича, врывающийся в повествование, — это голос его собригадников, работяг, „Иванов", томящихся в советских лагерях. Это голос сотен и тысяч шуховых. Каков же их мир?

*

В критической литературе не раз проводилось сопоставление Ивана Денисовича с Платоном Каратаевым. Так, Д. Благов писал: „...сравнение этих двух народных персонажей интересно и поучительно"¹³. „Шухов даже немного Платон Каратаев. Новый Каратаев, с душой, раздавленной и обезображенной революцией", — писал Р. Гуль¹⁴. Сближали Шухова с Каратаевым и В. Варшавский¹⁵, и Ю. Большухин¹⁶. Гораздо реже встречались суждения иного рода. Так, А. Нартов отрицал сходство этих героев на том основании, что якобы Иван Денисович, в отличие от Платона, был подхалимом. (Впрочем, суждения этого критика вообще стоят особняком. Он увидел в Солженицыне верного помощника партии, а в рассказе — реализацию социального заказа Никиты Хрущева¹⁷.)

О „каратаевщине", присущей солженицынскому герою, не раз говорил журнал „Октябрь", доказывая таким способом „неполноценность" этого пер-

сонажа, да и всего произведения. Ведь в советском литературоведении принято было оценивать Каратаева как воплощение „реакционного” идеала непротивления, долготерпения. В действительности, у Толстого его Платон выступает как „вечное олицетворение духа простоты и правды”, „олицетворение всего доброго” — в отличие от Наполеона, для которого „нет простоты, добра и правды”.

Проведение параллели между героями Толстого и Солженицына имеет некоторые основания. Оба персонажа противостоят „железному порядку” (так определил Толстой порядок, установленный Наполеоном). Оба при любых обстоятельствах в душе остаются крестьянами. Оба — неутомимые труженики, мастера на все руки. Оба обладают способностью приспосабливаться к самым невыносимым условиям.

Но в главном уподобление Шухова Каратаеву представляется сомнительным. Сошлюсь на слова самого Солженицына о критиках, толковавших о „каратаевщине”: „'Октябрь' по дурости долго долбил пустое место 'непротивленца', думая, что бьет меня”¹⁸. Да и в самом деле: много ли общего между „непротивленцем” Каратаевым и Иваном Денисовичем? В душе Платона нет места злобе, презрению. „...Он любил и любовно жил со всем, с чем сводила его жизнь, и в особенности с человеком (...) Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера”. В этой всеобъемлющей любви ко всему и ко всем на свете — самая суть толстовского героя.

А можно ли сказать о герое Солженицына, что он в равной мере любит всех, с кем сталкивается его судьба? Конечно, нет! В душе Шухова, в отличие от Платона, уживаются жалость к людям и жестокость, уважение и презрение, любовь и ненависть. Он по-

отцовски любит Гопчика-хлопчика, любит „тихого бедолагу” Сеньку Клевшина, особенно тепло, уважительно относится к Алешке-баптисту.

Но умеет Иван Денисович и ненавидеть, да еще как! Яростно ненавидит он эков, строящих свое благополучие на „чужой крови”. Одобряет тех, кто режет стукачей. Гневом дышат его слова о придурках: „завстоловой — откормленный гад”, „старший барака — вот еще сволочь старшая”. Такого рода характеристики встречаются постоянно. Нет нужды доказывать, что они совершенно несовместимы с мироощущением Каратаева.

Особенно остро ненавидит Иван Денисович всяческое начальство — будь то лагерные вертухаи и надзиратели или эки, бывшие „начальнички”.

Ненависть его к начальству проявляется, когда это возможно, и в активных действиях. Вспомним, как он мыл пол в надзирательской: сам разулся, чтобы не замочить валенок, и, „щедро разливая тряпкой воду, ринулся под ноги к надзирателям”. А затем „тряпку невыжатую бросил за печку (...) выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство...” Не так шил Каратаев рубаху французу: шил любовно, с охотой, рад был, что рубаха удалась на славу.

Нет, какой уж тут Каратаев! Вспоминая толстовского героя, так и видишь его склонившимся над работой, „круглыми” спорыми движениями делающим что-то и сказывающим неторопливо мудрые сказки и были.

Иным запомнился Шухов. Он весь — движение, порыв: „наддал”, „вбежал стремглав”, „через скамью перемахнул”, „бросился меж барakov”, „метнулся к своей койке”.

В „Архипелаге” Солженицын ставит „вопрос самый высокий: если ничем ты не был дурен для арес-

тантской братии — то был ли чем-нибудь полезен?

Как бы мог ответить на этот вопрос Иван Денисович? Печку он отменную мастерит, „чтобы нам не замерзнуть”. Шлакоблоки кладет быстро, ловко, чтобы бригада могла процентовку выгодней закрыть. И в столовой он захватывает места для всех своих сотоварищей.

Но что греха таить — в этой неустанной деятельности (не только для себя, но и для всей бригады) он истый лагерник: подозрительный, хитрый, порою и жестокий. Занимая места за столом, он „двух доходяг согнал”; в борьбе за поднос двинул того, кто щуплее его. Можно ли представить себе Платона Каратаева, так же действующего в подобной ситуации?!

Но не будем морализировать и упрекать Ивана Денисовича в жестокости. Мы в его шкуре ведь не были! Он же рассуждает просто: „Никогда зевать нельзя”. И если способен он в трудную минуту двинуть слабого, закосить лишнюю миску баланды, выбрать ту из них, где больше гущи, то на подлость, на предательство он не пошел бы и под страхом смерти.

Способность Шухова терпеть и приноравливаться к трудным обстоятельствам, на первый взгляд, роднит его с Каратаевым. Однако терпят и приспосабливаются они каждый на свой лад. Платон терпит тихо, безропотно, ласково улыбаясь. Шухов сопротивляется обстоятельствами, ропщет, порою зло усмехаясь смотрит на лагерную жизнь. Платон приспосабливается к... смерти. Иван Денисович — к жизни. Даже — в каторжном лагере!

Нет, он не безразличен к страданиям, как покорный судьбе Каратаев! В минуту отчаяния в душе Шухова может вспыхнуть гнев: „Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая...” Но

человек мудрый, обычно он воспринимает зло как нечто неизбежное и не бередит понапрасну свою душу бесполезными проклятиями.

„Тут жить можно, — рассуждает он об Особлаге. — Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от пуза... кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули”.

Какой душевной силой надо обладать, чтобы примириться с жизнью в каторжном лагере и даже видеть в ней какие-то преимущества! Но не забудем: жизнь эту хвалит Шухов потому, что „свободы здесь от пуза”...

*

Что спасает Шухова? Ведь не одна же потребность уцелеть, не животная жажда жизни? Одна эта потребность плодит таких, как завстоловой, как повара. Иван Денисович находится на другом полюсе Добра и Зла. В том-то и сила Шухова, что при всех неизбежных для ээка моральных потерях он сумел сохранить душу живу¹⁹. Такие нравственные категории, как совесть, человеческое достоинство, порядочность, определяют его жизненное поведение. Восемь лет каторги не сломили тела. Не сломили и души. Так рассказ о советских лагерях вырастает до масштабов рассказа об извечной силе человеческого духа.

Сам герой Солженицына вряд ли сознает свое духовное величие. Но детали его поведения, казалось бы, незначительные, таят в себе глубокий смысл.

Как бы ни был голоден Иван Денисович, ел он не жадно, внимчиво, в чужие миски старался не заглядывать. И хоть мерзла его бритая голова, во время еды он непременно снимал шапку: „не мог он себя допустить есть в шапке”. Или — другая деталь.

Чует Иван Денисович духовитый дымок папиросы. „...Он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, — но *он бы себя не уронил* и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел”.

Глубокий смысл заключен в подчеркнутых здесь словах! За ними кроется огромная внутренняя работа, борьба с обстоятельствами, с самим собою. Шухов „выковыывал себе душу сам, год от году” и сумел остаться человеком. „И через то — крупницей своего народа”. С уважением и любовью говорит о нем автор: „Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался”.

Этим объясняется отношение Ивана Денисовича к другим зэкам: уважение к тем, кто выстоял; презрение к тем, кто потерял человеческий облик. Так, доходягу и шакала Фетюкова он презирает потому, что тот миски лижет, что он „себя уронил”²⁰. Обостряется это презрение, быть может, и потому, что „Фетюков, кесь, в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил”. А любой начальник, как уже говорилось, для Шухова — враг. И вот он не хочет, чтобы лишняя миска баланды досталась этому доходяге, радуется, когда того бьют. Жестокость? Да. Но надо понять и Ивана Денисовича. Немалых душевных усилий стоило ему сохранить человеческое достоинство, и он выстрадал право презирать тех, кто свое достоинство потерял.

Однако Шухов не только презирает, но и жалеет Фетюкова: „Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить”. Зэк Щ—854 себя поставить умеет. Но нравственная победа его выражается не только в этом. Проведя долгие годы на каторге, где действует жестокий „закон — тайга”,

сумел он сберечь самое ценное достояние — милосердие, человечность, способность понять и пожалеть другого.

Все симпатии, все сочувствие Шухова на стороне тех, кто выстоял, кто обладает сильным духом и душевной стойкостью.

Словно сказочный богатырь, рисуется в воображении Ивана Денисовича бригадир Тюрин: „...грудь стальная у бригадира (...) боязно перебить его высокую думу (...) Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая”. Таков же и зэк Ю—81. „...Он по лагерям да по тюрьмам сидит нещетно, сколько советская власть стоит”. Портрет этого человека подстать портрету Тюрина. Оба они вызывают в памяти образы богатырей, вроде Микулы Селяниновича: „Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною (...) Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного”.

Да, трудно было на каторге сохранить жизнь. Но еще труднее было (еще важнее!) сохранить живую душу.

*

Так раскрывается в „Одном дне Ивана Денисовича” „судьба человеческая” — судьба людей, поставленных в нечеловеческие условия. Писатель верит в неограниченные духовные силы человека, в его способность выстоять перед угрозой озверения.

Перечитывая теперь рассказ Солженицына, невольно сравниваешь его с „Колымскими рассказами” В. Шаламова. Автор этой страшной книги рисует девятый круг ада, где страдания доходили до такой степени, когда, за редким исключением,

люди уже не могли сохранить человеческий облик.

„Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, — пишет Солженицын в „Архипелаге ГУЛаг”, — и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт”. Но отдавая должное этой скорбной книге, Солженицын расходится с ее автором во взглядах на человека, на силу сопротивления его духа. Обращаясь к Шаламову, Солженицын говорит: „Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?” По мнению автора „Архипелага”, „...и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растрение без восхождения. Они — рядом”.

*

Отмечая стойкость и силу духа Ивана Денисовича, многие критики, тем не менее, говорили о бедности и приземленности его духовного мира. Так, Л. Ржевский считает, что кругозор Шухова ограничен „хлебом единым”²¹. Другой критик утверждает, что солженицынский герой борется за сохранение своего человеческого достоинства, но понимает его „физиологически, витально, как своего рода жизнеутверждающую силу”, в отличие от Алешки и кавторанга, которые „обладают уже представлением о духовной сущности человеческого достоинства”²².

Нет спору, Шухов — человек необразованный, он не мог бы сформулировать своей жизненной позиции, не мог бы объяснить, что разумеет он под понятиями „человеческое достоинство”, „внутренняя свобода” и т. п. Но тем не менее, он совершенно сознательно отстаивает именно это достоинство,

именно эту свободу, и мир его не сводится к заботам о хлебе насущном.

Думается, „дар духовного подвига“, дар, которым так щедро наделен автор рассказа, в известной мере присущ и его герою. Не это ли их и сближает?

Если мы обратимся к пейзажу, который, как и все в рассказе, дан в восприятии Ивана Денисовича, то убедимся, что сближает его с писателем сходное отношение к природе (о роли пейзажа в „Архипелаге“ говорилось в предыдущей главе)

Пейзаж в рассказе играет двоякую роль: с одной стороны, он помогает острее ощутить меру тоски подневольного человека, с другой — раскрывает богатый внутренний мир героя Солженицына.

Чувством безысходного отчаяния веет от многих картин природы. В них подчеркивается то, что кажется особенно безотрадным крестьянину, землепашцу: чужая земля бесплодна! „Свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный. Отроду в той степи ничего не росло, а меж проволоками четьрьмя — и подавно“. В другом месте необычный порядок слов усиливает то же впечатление: „...и деревца во всей степи не было ни единого“.

Но как ни пустынна, как ни безрадостна чужая земля, Шухов не утрачивает связи с миром природы. И эта связь — источник его духовной силы, залог его внутренней свободы. Чувства простого крестьянина Шухова перекликаются с тем, что чувствовал автор рассказа, назвавший себя в „Архипелаге ГУЛаг“ Межзвездным Скитальцем, что чувствовал Пьер Безухов в плену у французов.

Чужая земля бесплодна. Она напоминает о неволе. А вот небо над Особлагом такое же, как и над Темгеновым. Крестьянин Шухов привык следить за

его далекой вечной жизнью, за меняющимся освещением, за движением светил.

И теперь, чем бы он ни был занят, Иван Денисович подмечает все, что происходит на небе. В предутреннем мраке видит он, как восток зеленеет и светлеет, видит в степи краснеющий восход, видит, что солнце сперва поднялось, потом выше поднялось, а потом „закрайком верхним за землю ушло”.

На земле время идет своей чередой, проходит день, наполненный обычной лагерной страдой. Двигается время и там, наверху, но переход от утра к полудню, от вечера к ночи совершается там по вечному распорядку, такому же, какой испокон веку определял дневные заботы и часы досуга крестьянина.

Вот почему, мне кажется, и любит так Иван Денисович этот мир. Когда Шухов всматривается в него, речь наполняется ласкательными формами: „солнышко на заходе”, „с красинкой заходит и в туман вроде бы седенький”. Вспоминает Иван Денисович старинные народные присловья: „В январе солнышко коровке бок съело”. Месяц называет шутиливо, как в деревне его называли: „волчье солнышко”. Говорит о нем, словно о живом, близком существе: „а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез”. Верит он и поэтическим рассказам дедов: „у нас так говорили: старый месяц Бог на звезды крошит”.

Жизнь неба, распростертого над бараками, над вышками с часовыми, кажется свободной, неподвластной тем силам, которые душат человека. Солнце „ихим декретам” не подчиняется! И это сознание укрепляет ощущение внутренней свободы. „И все это мое, и все это во мне, и все это я!” — мог бы сказать и Иван Денисович словами Пьера, если бы умел анализировать свои чувства.

Как ни карежил, как ни сгибал людские души лагерный мир, как ни старались „начальнички” превратить человека в раба, живая душа оставалась свободной.

Но ведь не только система лагерей — вся система советского государства направлена на подавление личности. Поэтому рассказ о ээке, который „не мог себя допустить”, „чем дальше, тем больше утверждался”, — приобретает всеобъемлющий смысл. В стране, где все направлено на растление душ, сохранить душу живую — высокий духовный подвиг!

Раздумья об „Одном дне Ивана Денисовича” хочется закончить словами Милована Джиласа из его статьи „Несокрушимая вера”. Вспоминая, как впервые прочитал он рассказ Солженицына в тюрьме, автор статьи продолжает: „...я начал понимать — *через Солженицына* — судьбу людей, осужденных на самое страшное прозябание, но вопреки всему сохранивших в себе человечность (...) Читая „Ивана Денисовича”, я также понял, что Солженицын вышел из смертельных ужасов невредимым и бесстрашным и все еще олицетворяет тот целомудреннейший русский дух, который — я опасался — подвергся извращениям, застыл в догмах, был *искален идеологией* и онемел от насилия. Дальнейшее поведение и гражданское мужество Солженицына подтвердили мою уверенность в неизменности и нерушимости этого духа. Присущие писателю глубоко русские качества поэта и прорицателя, наравне с его социальными и нравственными ценностями, и делают его творчество столь фундаментально важным как для его родной страны, так и для всего мира”²³.

ЗАГУБЛЕННАЯ ДУША?

Растление душ обнажается с потрясающей силой в рассказе „Случай на станции Кочетовка”. Осенью сорок первого года, в то время, как Иван Денисович познавал фронтовую страду, на глухой железнодорожной станции произошел этот случай.

Проведя один день в Особлаге вместе с Шуховым, мы увидели всю страну, ее историю последних десятилетий. Пробыв несколько часов на станции Кочетовка, мы видим всю Россию, объятую войной. И встают из мрака прошлого „сороковые, роковые”...

Рассказ проникнут чувством отчаяния, тревоги, кромешной мукой первых дней войны. Этим чувствам вторят картины осеннего ненастья, определяющие колорит всего рассказа.

Он начинается с диалога дежурного помощника военного коменданта Зотова и диспетчера. Из их слов мы узнаем: на станции стоят разбитые паровозы, задерживаются военные грузы, мечутся растерянные беженцы. И эти толпы, и мрак осеннего вечера, и „лив, хлест, толчки ветра” — все сливается в единое впечатление, тоска нарастает, наплывают воспоминания, и даже тот, кто не был свидетелем военной поры, начинает ощущать себя современником трагических событий.

Трагизм усиливается потому, что с первых строк мы видим: страна страдает от хаоса и злоупотреблений. Так, из-за неразберихи и равнодушия, начальник конвоя военного транспорта Дыгин и его бойцы десять дней не могут получить в пути продовольствия. Поражает и бессмыслица, которая обнаруживается во всей этой ситуации: „Груз их был — двадцать тысяч саперных лопаток в заводской

смазке. И везли они их — Дыгин знал это с самого места — из Горького в Тбилиси”.

Возникают и характерные для военных лет портреты людей, наживавшихся на народном горе. Таков кладовщик продпункта старшина Саморуков — „здоровый раскормленный волк”. Такова заведующая столовой Антонина Ивановна, с присущим ей видом „воровской сытости”.

С основной сюжетной коллизией рассказа связан характерный случай, который обсуждают персонажи. Через станцию везли в тыл тридцать вагонов с окруженцами. Эти отчаянные голодные люди набросились на мешки с мукой, и конвоир мучного вагона застрелил одного человека. „Окруженцы, когда их много вместе, — страшный, лихой народ”, — поясняет автор. Но в чем причина их отчаяния? Почему их везут не на фронт? Ведь это „те самые ребята, которые в июле стояли где-нибудь под Бобруйском, или в августе под Киевом, или в сентябре под Орлом”, а затем попали в окружение, и лишь немногим удалось спастись. Да и попали они в окружение по той же причине, что и Шухов: „в сорок первом к войне не подготовились”. Но звучит намек на „некоторую их небезупречность...” И есть все основания полагать, что большинство из них ждет судьба Ивана Денисовича.

Случай с одним из таких бедолаг и послужил темой рассказа.

*

Герой „Случая на станции Кочетовка” вызвал разноречивые оценки советских критиков. Зотов — „один из хороших людей своего времени”, — писал А. Коган²⁴. „Нет, не умен, не честен, не совестлив Вася Зотов”, — возражал Д. Стариков²⁵.

Таковы мерки соцреалистической критики. Однако тесный костюм положительного или отрицательного героя невозможно надеть на лейтенанта Зотова.

„Если б это было так просто, — говорит Солженицын в уже знакомой нам главе из „Архипелага ГУЛаг” „Голубые канты”, — что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека (...) В течение жизни одного сердца эта линия перемещается на нем, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — совсем разным человеком”.

В этих словах — ключ к пониманию рассказа и его героя. Перед нами — не рыцарь без страха и упрека. Перед нами — не злодей без стыда и совести. Добрый, честный, самоотверженный человек, Вася Зотов отравлен ядом античеловеческой идеологии. Солженицын выбрал одного из лучших советских людей, и тем страшнее кажется отравка, убивающая человеческие души.

Духовный мир Зотова (и шире — миллионов зотовых, коими и по сей день богата страна победившего социализма) раскрывается в экспозиции рассказа. На первый взгляд может показаться, что перед нами типичный „положительный” герой, перекочевавший сюда из других советских произведений о войне. Вспоминается, например, одно из лучших — поэтический рассказ Э. Казакевича „Звезда”. Не сродни ли Зотову Травкин, всей душой преданный родине, аскетически чистый юноша, готовый на подвиг и на смерть? Но столь хорошо знакомого нам героя Солженицын сводит с пьедестала и от-

крывает такие грани его души, каких прежде никто не касался.

Вернемся к эпизоду с мукой. В споре, разгоревшемся по этому поводу, человечность и здравый смысл проявляет лишь старый вагонный мастер Кордубайло: „Ну правильно... Правильно... Есть все хотят”, — говорит он, как бы даже и не споря. И уж если люди бросаются на сырую муку, значит голод крепко схватил их за горло. Охраняя государственное имущество, часовой убил голодного окруженца, и Зотов оправдывает убийцу. Но старик Кордубайло замечает: везут-то муку в открытых вагонах под проливным дождем! А Вася уверен, что истина открыта лишь ему, и доводы старика до него не доходят.

Что же это за истина, которой владеет лейтенант Зотов? Она проста: человек — ничто; государство, революция — все. „Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он может помочь Революции”, — убежден Вася, и убеждение его нерушимо.

Все ясно и просто в мире Зотова. Но обрушившиеся на страну грозные события разворачиваются наперекор готовой схеме, прочно вбитой в его голову. Не только не грянула мировая революция, но и завоеваниям „Великого Октября” грозит крушение. „Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова от хода войны, до дикости непонятного...”

Его терзает мысль о возможной сдаче Москвы и (страшно даже вымолвить!) о гибели Советского Союза. „Вася Зотов преступлением считал даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему Отцу и Учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит”. Но слышит Вася рассказы о каких-то „чудовищно-немыслимых

вещах”, „и молчаливая мука” сжимает его бедное сердце.

Наряду с трагическими нотами нельзя не почувствовать здесь и авторской иронии: герой рассказа слепо верит в некое верховное существо, а сам боится думать, закрывает глаза, затыкает уши. Иронически звучит и рассказ о том, как Зотов штудировал „Капитал”, веря, что, осилив первый том „великой книги”, „станет непобедимым, неуязвимым в любой идейной схватке”. Идейная борьба представляется ему актуальной даже теперь, когда „наши села в огне и в дыму города...”

Особенно горько-насмешливо говорит автор о главном пороке, прочно, как гвоздь, вбитом в голову Зотова. Он свято соблюдает бдительность, он никому не доверяет. Даже диспетчера Валю, наивно пытающуюся завлечь лейтенанта, он готов подозревать в намерении выведать военную тайну. Партия научила его верить и не верить. Верить — догме, не верить — человеку. И не думать. Эту нехитрую науку Вася прочно усвоил. „Нам с тобою судить нельзя”, — таков его основной принцип.

*

Но разве слепая вера, подозрительность, нежелание и неумение думать — пороки только Васи Зотова? Нет, конечно. Солженицын мог бы назвать свой рассказ, как Лермонтов назвал свой роман: „Герой нашего времени”. Подобно тому, как Печорин воплотил все достоинства и недостатки людей 30-х — начала 40-х годов XIX века, так и Зотов явился носителем черт, присущих людям 30-х — начала 40-х годов XX века. Сходство довершается тем, что создатель образа Печорина сам принадлежал к по-

колению печориных. И Солженицын принадлежит к поколению зотовых.

На первый взгляд это утверждение может показаться парадоксальным. Зотов и Солженицын! Что может быть общего между ними? Но вспомним еще раз „Голубые канты”. Вопрос там поставлен прямо и беспощадно: „...а повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я?” Рассказав о своем отказе идти в школу НКВД, писатель признается: не потому он отказался, что знал об арестах и лагерях. „Нет! Ведь воронки ходили ночью, а мы были — эти, дневные, со знаменами. Откуда нам знать и почему об арестах? (...) Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников Октября, и как ровесников, нас ожидало самое светлое будущее”. Но это же про Васю! Это он шагал под сенью знамен навстречу мировой революции!

„Поколение Солженицына не было, по возрасту, ранено ни революцией, ни даже кошмаром сталинских лагерей 30-х годов, — пишет прот. А. Шмеман. — Его первым кризисом, первой нравственной встряской была война”²⁶.

То же можно сказать и о Зотове. И он недоумевает: „А — что тридцать седьмой? А что было в тридцать седьмом?” И для него первым уроком — в рамках рассказа не завершенным — оказалась война. Явится ли она для него „освобождением”, каким, по мысли А. Шмемана, явилась для Солженицына, — неизвестно. Подобная возможность не исключена, хотя Зотов — такой, каким мы его видим, — еще очень далек от „освобождения”. Настолько далек, что, несмотря на свою доброту и порядочность, он совершает предательство и губит ни в чем не повинного человека.

Центральный эпизод, давший название рассказу, — случай с Тверитиновым — занимает в произведении немного места: из 55 страниц ему отведено лишь 22. Такое построение, тем не менее, вполне оправдано. Казалось бы растянутая, экспозиция вводит читателя в атмосферу войны, раскрывает внутренний мир героя и таким образом подготавливает нас к восприятию центрального события.

Еще одна особенность композиции рассказа обращает на себя внимание: он насыщен диалогами, с диалога и начинается, а эпизод с Тверитиновым по структуре своей похож на некое драматическое действие, вставленное в ткань эпического повествования. В этой миниатюрной драме есть своя завязка, кульминация и развязка. Как в классицистической трагедии, развитие действия здесь определяется борьбой чувства и долга в душе героя.

Но есть и существенное отличие. Обычно в трагедии ни чувство (чаще всего любовь), ни долг (гражданский, семейный, долг чести и т. п.) не противостоят нормам высокой морали. В рассказе Солженицына картина иная. Чувство (невольное влечение к хорошему человеку) и долг (тупое подчинение инструкции, которая требовала „крайне пристально относиться к окруженцам”) — неравноценны с точки зрения этики. В душе Зотова происходит борьба добра со злом: того, что является исконно ему присущим, и того, что воспитала в нем партия.

Драматический узел завязывается в момент появления Тверитинова. Сразу же возникает недоверие („Зотов покосился на постороннего”). Возникает и невольное влечение („Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака”). Далее конфликт развивается волно-

образно: то чувство побеждает, то долг. И соответственно меняется характер диалога: дружеская беседа переходит в допрос, допрос — в дружескую беседу.

Какие-то таинственные флюиды, побеждая ложно понятое чувство долга, влекут Васю к столь не похожему на него человеку. И старый актер проникается симпатией к лейтенанту. Внутренний свет — свет любви и братства — озаряет их лица и души. Но вот беда: милый интеллигентный человек никак не может доказать, что он — не шпион! И из уст Зотова вырывается крик отчаяния: „Ну что-нибудь! Что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось?”

Казалось бы, дух инструкции победил. Но неожиданно вместо документа за подписью и печатью видит Зотов тоже нечто „бумажное”, хотя и не то, что хотелось бы ему увидеть. Перед ним человеческий документ огромной силы, куда более достоверный, нежели какие бы то ни было паспорта, справки, свидетельства. Их ведь легко подделать. А как подделаешь личико девочки с тонкой шейкой, атмосферу человеческого тепла, семейного уюта, которой проникнута потускневшая фотография?! Здесь запечатлелась целая жизнь — любовь, разлука, тревога, тоска...

Но за этим бледным снимком встает горе не одной семьи, а всей страны, всего народа. Когда мы вместе с Зотовым смотрим на фотокарточку дочери и жены Тверитинова, перед нами, как на киноэкране, за одним кадром возникает ряд других. И поражает жгучий контраст: „Полгода! Полгода прошло с минуты, когда сказали: 'Ляленька! Снимаю!' — и щелкнули затвором, но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор, и вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели (...) как было

поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье?!”

Острое ощущение общего горя и братства на миг затопило душу Зотова. И потонуло в этом чувстве все наносное — казенное, бесчеловечное. Линия добра переместилась, оттеснила зло. Поверив человеку, брату, соотечественнику, Зотов забывает о бдительности, объясняет „подозрительному окруженцу”, куда идет эшелон, сетует, что нет под рукой карты, одним словом, — „выдает военные тайны”.

...Когда доходишь до этого места рассказа, невольно вспоминаются бесчисленные книги и фильмы про шпионов. На этих творениях соцреалистического „искусства” воспитывалось как поколение зотовых, так и ряд других поколений. Нехитрая схема подобных произведений обычно строится по двум вариантам: шпиона разоблачает бдительный, прозорливый советский человек; советский человек доверился врагу, бдительность притупилась, и незадачливый герой кого-то и что-то погубил (впрочем, и в этом случае хеппи энд обеспечен, ибо на выручку обязательно придет опытный и ловкий чекист).

Характерно, что впервые читая рассказ и дойдя до появления Тверитинова, Твардовский почувствовал опасение: „...решил он, что это будет патристический детектив, что к концу поймут подлинного шпиона”²⁷.

Судьбы персонажей Солженицына складываются по-другому. Нет, Зотов не потерял бдительности. Он потерял нечто иное: человечность. И поэтому тоже кого-то и что-то погубил.

Писатель показывает, что герой его поступает наперекор велению собственного сердца и невольно стыдится своей паскудной роли. Он краснеет, говорит неуверенно, прячет глаза. Но какая-то роковая

сила толкает его на предательство. Словно ослепленный этой силой, Зотов не задумывается над простыми вещами: зачем шпион полез в военную комендатуру, вместо того, чтобы прятаться от нее? Почему не запасся он картой, фальшивыми документами? Почему оделся в такой странный, привлекающий внимание костюм? И эта фотография, эта девочка с тонкой шейкой? Эта душу растворяющая улыбка?.. Не дело лейтенанта думать! „Нам с тобою судить нельзя” — вот его философия. Его дело — выполнять инструкцию. А там, наверху, разберутся...

Падение совершилось. Ложно понятый долг победил живое чувство. Но темно у Васи на душе. Этому внутреннему помрачению словно вторит окружающая обстановка. Черное дело предательства совершается во мраке. Все окрашено в темные тона: „поезд был черен, но немного чернее неба”; мелькают „темные” фигуры беженцев. „В черноте ночи” несутся „не белые вовсе” хлопья снега.

Неожиданно в этот черный мир, как некий контраст, врывается образ иного мира — далекого, вечного и прекрасного: „Если б не зола под паровозом, не семафор, не искры теплушечных труб (...) поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут и что это станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле, в медлительных годовых переменах уже покорно готовое к зиме”. Словно желая усилить контраст, писатель вводит постоянные эпитеты, веками звучавшие в народной поэзии („дремучий лес”, „чистое поле”). Но этот далекий мир мелькнул лишь на миг. И тем мрачнее кажется людская толчея, черное дело войны, черное дело предательства.

Когда наступает развязка, голос автора начинает звучать гневно, как голос судьи. До этого почти от-

существовали прямые авторские оценки, писатель словно скрывался за кулисами, предоставляя читателю самому во всем разбираться. Лишь кое-где слышалась авторская ирония. В финале же отчетливо проступают негодующие, горестные интонации.

Они особенно ощутимы в изображении портрета Тверитинова. Даже простые бытовые детали приобретают некое символическое значение: „Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею”. И далее бывший актер начинает казаться каким-то потусторонним крылатым существом — одновременно и жертвой, и обвинителем:

„Зотову пришлось еще раз оглянуться и еще раз — последний раз в жизни — увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.

— Что вы делаете! Что вы делаете! — кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. — Ведь этого не исправишь!!

Он взбросил руки, вылезавшие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову”.

Таким запомнился Зотову этот человек. Навсегда...

Быть может, роковая ошибка, погубившая Тверитинова, послужит для героя рассказа великим уроком? И урок этот, соединившись с опытом войны, укажет душе его путь к „освобождению”? Конец рассказа остается открытым. Но есть симптомы, позволяющие верить в возможность прозрения Васи Зотова.

Прежде всего, возникает вопрос: не начал ли он, пусть хоть смутно, догадываться, в чьи лапы отдан

Тверитинов? Недаром же сам Зотов боится наводить о нем справки: „могло показаться подозрительным”. Впрочем, не исключено, что такая подозрительность, даже по отношению к нему самому (это к нему-то!), кажется лейтенанту лишь вполне закономерным проявлением бдительности. Быть может, верит он и словам следователя: „Раз-берутся и с вашим Тверикиным... У нас брака не бывает”. Хотя одна маленькая деталь — искаженная фамилия — как раз о браке и говорит. Но вряд ли Вася это заметил. И сказанное следователем должно бы его успокоить.

Между тем, сомнения не оставляют Зотова. „Все было сделано, кажется, так, как надо”, — словно успокаивает он себя. Но это словечко „кажется” свидетельствует о неуверенности. И в ответ звучит внутренний голос — бескомпромиссный голос совести, голос и Зотова, и ватора: „Так, да не так...”

Концовка рассказа как бы состоит из трех частей, фиксирующих некий отсчет времени. „Прошло несколько дней (...) Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платице...” Проходят недели, месяцы. „И всю зиму служил Зотов на той же станции (...) И не раз тянуло его еще позвонить, справиться...” В потоке тревожных событий зимы 41-го — 42-го сколько людей перевидал Вася, сколько трагедий узнал. А Тверитинова забыть не мог! Миновала зима, да не одна... Проходили годы. „Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...”

Так завершается рассказ.

„Кто виноват?“ — спрашиваем мы, закрывая последнюю страницу. Ответ на этот непростой вопрос поможет нам найти все та же глава „Голубые канты“. „Чтобы делать зло, — говорится в ней, — человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. (...) Идеология! Это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и другими обелять свои поступки и слышать не укоры, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством (...) нацисты — расой, якобинцы (ранние и поздние) — равенством, братством, счастьем будущих поколений“. Сказанное здесь объясняет психологию зотовых, психологию всяческих павликов морозовых.

Через год после публикации „Случая на станции Кочетовка“ на страницах того же журнала появилась „одна из лучших вещей советской литературы“ (по оценке Солженицына) — повесть С. Залыгина „На Иртыше“²⁸. Есть в этой повести один как бы второстепенный персонаж — тихий, скромный парнишка, которого все называют Митя-уполномоченный. Митя — двойник Васи Зотова.

Жил он в доме героя повести Степана Чаузова, когда приезжал в село, пользовался его гостеприимством, вел с хозяином долгие душевные беседы. Но пришла в этот дом беда: Степана обвинили в содействии семье кулака. И Митя, не дрогнув, голосовал за то, чтобы Чаузова сослали „за болото“. А поскольку мнения разделились, голос Мити оказался решающим.

Однако он вполне искренне убежден: „Я честно служу делу”. Дело же — воистину великое: „переделка всей жизни”, „борьба за светлое будущее”. Что значат в таком великом деле одна, две, три, десятки человеческих жизней! В уста Мити писатель вкладывает сакраментальную фразу: „Лес рубят — щепки летят”. И не доходят до его сознания слова Клашки Чаузовой, выражающие вековую народную мудрость: „Честное-то правдой дается, не разбоем!”

От Мити-уполномоченного, от тех, „без кого Архипелага бы не было”, при всем генетическом, родовом сходстве с ними, Вася Зотов отличается в одном: он познал сомнение, где-то в глубинах подсознания прозвучал голос совести. А беспокойная совесть может разбудить усыпленную мысль...

Есть у героев Солженицына и Залыгина один общий литературный предок.

Если бы меня спросили: „Кто самый страшный персонаж в романе Достоевского 'Бесы'?", — я назвала бы не Петра Верховенского, не Николая Ставрогина, не Шигалева, не Лебядкина и прочих. Я назвала бы прапорщика Эркеля, этого „странного мальчика”, тихого, милого, с прехорошеньким и даже умным лицом.

Достоевский всячески подчеркивает присущую ему детскость, что обычно бывает признаком душевной ясности и чистоты. О нем говорится: „молоденький неопытный мальчик”, „детские глаза”, „глупенький мальчишка”. Он, действительно, отличается какой-то детской невинностью. Даже добротой. „У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалованья, — и как, должно быть, она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней!”

Но чем больше сходство Эркеля с малым ребенком, тем страшнее кажется роль, которую он играет в трагической истории убийства. Это он настоял на необходимости „убрать” Шатова. Это он заманивает жертву в ловушку и смотрит при этом в глаза обреченного „ясно и спокойно”. Да и в сцене убийства он самый деятельный, самый невозмутимый среди всех. Почему? Ведь не хуже он других убийц? Не хуже. Страшнее.

„Фанатически, младенчески преданный общему делу, а, в сущности, Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции... — говорит Достоевский об Эркеле, — о, конечно, не иначе как ради 'общего' или 'великого' дела (...) Маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее, иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц...”

Нет нужды говорить о пророческой силе этих слов. В низведении человека до уровня слепого исполнителя чужой воли (Эркель говорит Верховенскому: „...вы все, а мы — ничто”), в отказе от нравственного критерия, когда дело касается реализации „высоких идеалов”, — таятся корни злодеяний, совершаемых тихими эркелями всех времен и народов. Из породы эркелей — и Вася Зотов. И он идет на преступление, следуя инструкциям великого Отца и Учителя.

Но автор „Бесов” говорит об Эркеле: „Я потому так много о нем распространяюсь, что мне его очень жаль”. Чем вызвана эта жалость к „самому бесчувственному из всех убийц”? Не тем ли, что он ослеплен и обманут? Не тем ли, что для него еще не все потеряно? Ведь после убийства что-то „начало царапать его бедненькое сердце, чего он сам еще не

понимал, что-то связанное со вчерашним вечером”. Быть может, как и в душе Зотова, не умерла еще его совесть? Но проснется ли она, заговорит ли? Бог весть... Ведь на суде Эркель не признал себя виновным, не раскаялся.

Великая мудрость обоих писателей сказалась в том, что они решили покинуть своих героев на перепутье. Эркели и зотовы шли по разным дорогам. И путь к „освобождению” никому из них не был заказан...

ДУШИ ПРАВЕДНЫЕ

Во глубине столетий таятся корни народного похоронного обряда. Члены семьи покойного или профессиональные плакальщицы произносили-пели над гробом веками слагавшиеся стихи. В них воплощались и общечеловеческие чувства, и горе именно этой матери, именно этой вдовы. Народные причитания — создание высокой поэзии. Вот, например, как знаменитая вопленица Ирина Федосова оплакивает от лица дочери покойную мать:

С гор катитесь, ручьи вешнии,
Вы размойте пески желтые,
Поднимите гробову доску,
Вы откройте полотеничка,
Дайте раз взглянуть горющице
На родитель мою, матушку!
Ой, не лютят ручьи вешнии,
Не размоют песков желтых,
Не покажут моей матушки!
Возбушуйте, ветры буйныи,
Со всех ли со четырех сторон,
Понеситесь вы к Божьей церкви,
Размечите вы сыру землю,
Вы ударьте в большой колокол.
Разбудите мою матушку!

Не бушуют-то ветры с четырех сторон,
Не ударят оны в большой колокол,
Не разбудят моей матушки!

Да, народ умел оплакивать своих мертвых, потому что живой была народная душа.

Поэзию причитаний ощущали и великие русские писатели. Так, пушкинская Василиса Егоровна причитает по мужу: „Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие, не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!” Здесь звучат не только традиционные формулы и обращения, но и некая импровизация, связанная с конкретными обстоятельствами гибели капитана Миронова.

Плач не исключал такого рода отступлений от общепринятых канонов. Но при этом он всегда оставался поэтичным, высоким, не снижался до бытовой приземленности. Сказывались врожденный такт, уважение к смерти, истинное горе, не совместимое с суетными чувствами.

В советской деревне Тальново, куда привел нас автор „Матренина двора”, сохранился старинный обычай. Солженицын изображает обряд похорон Матрены, и мы слышим причитания родни над прахом усопшей. Но как же все изменилось!

Плач по Матрене превратился в „своего рода политику”. Подспудный смысл причитаний сестер покойной был: „...горницу-ту вы взять — взяли, избы же самой мы вам не дадим!” А из причитаний мужниной родни „выпирал ответ: в смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим!” Ни тени истинного чувства. А вместе с чувством исчезла и поэзия.

В сценах похорон и поминок обнажается необра-

тимый процесс духовного общи́ания деревни.

Солженицын одним из первых поднял эту тему. О жизни колхозной деревни писали и до него. Первым заговорил о ней Валентин Овечкин. В его очерках речь шла о труде и быте колхозников, о проблемах экономических. При этом чаще всего плохим колхозам, плохим председателям противопоставлялись хорошие. В сталинскую эпоху, когда впервые появились очерки Овечкина (что само по себе граничило с чудом), иначе писать о деревне было невозможно. И смелость Овечкина должна быть оценена по заслугам.

Характерно, что и „Матренин двор” многие восприняли как произведение, идущее в том же русле. Правовверные критики упрекали Солженицына в „очернительстве”, потому что бедному колхозу писатель не противопоставил богатого²⁹. Но пафос этого произведения отнюдь не в изображении материальной нищеты, хотя и о ней говорится на его страницах. Солженицына волнует процесс духовного оскудения деревни.

В этом отношении „Матренин двор” перекликается с „Вологодской свадьбой” Александра Яшина, напечатанной незадолго до рассказа Солженицына в „Новом мире”³⁰. Оба писателя, независимо друг от друга, с чувством глубокой печали говорят о духовной деградации крестьянства. Процесс этот с равной силой обнажается и на деревенской свадьбе, и на похоронах.

*

Как некий зловещий символ предстает в рассказе Солженицына бывший жених Матрены — старик Фаддей. Говоря о нем, писатель настойчиво употребляет эпитет „черный”: „Высокий черный старик

(...) Все лицо его облегали густые черные волосы (...) с черной окладистой бородой сливались усы густые, черные (...) и еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу”.

Когда читаешь рассказ, невольно вспоминается пушкинский Черный человек, заказавший Моцарту „Реквием” и явившийся предвестником смерти композитора. Ведь и Фаддей принес Матрене гибель. „Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила все-таки...”

Но всегда ли этот человек был одержим жадностью и лишен живых человеческих чувств? Из рассказа Матрены очевидно, что он когда-то по-настоящему любил ее. Теперь же для него не существует прошлого. Холодный расчет заходит так далеко, что даже гибель сына и когда-то столь любимой женщины не образумила жадного старика. Он не ощущает ни вины, ни жалости, ничего — кроме боязни потерять уцелевшие бревна.

Однако автор отмечает: „Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один”. Мало чем отличаются от него Матренины сестры. Словно хищные птицы, „слетелись” они, „захватили избу”, „выпотрошили двести похоронных рублей”. Таков же и тракторист „с жестоким лицом”, из-за жадности которого и произошло несчастье.

Особенно тягостное впечатление производит полвековая подруга Матрены. Поведав автору о трагической гибели близкого ей человека, Маша утирает слезы и деловито заговаривает о вязаночке, которую Матрена якобы завещала Машиной Таньке. Все помыслы Маши сейчас направлены на то, чтобы перехватить эту старую кофтенку у Матрениной родни.

„Наверно, так надо было”, — с горечью замечает автор. Ведь вязаночка казалась Маше столь ценной

потому, что нищенской была вся ее жизнь. А вечная нужда постепенно, незаметно, но неуклонно убивала человеческие души. Как в шуховском Темгене-ве, здесь, в Тальнове, люди годами бились в нищете. В рассказе встречается немало деталей, свидетельствующих об этом.

Нарисовав картину нужды советского народа в статье „Чем грозит Америке плохое понимание России”, написанной почти два десятилетия спустя, Солженицын продолжает: „Такая материальная пропасть существования — и уже полвека! — ведет и приводит к биологическому вырождению, к упадку телесному и духовному (...) Падение бытовых нравов жестоко, но не потому что так плох народ, а потому что коммунисты лишили его пищи физической, пищи духовной”³¹.

Духовную пищу в Тальнове заменили кричащее радио, танцы под радиолу, плакат с красавицей, предлагающей читателям книжку Панферова.

*

Немало лишений, трудов и забот легло и на плечи Матрены. Жизнь ее в молодости и в старости была непрерывной маятой. „Год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудодней в заму-соленной книжке учетчика”.

Но, в отличие от своих односельчан, сохранила Матрена живую душу, осталась навсегда бескорыстной, доброй, деликатной, до старости сберегла бы-лую девичью любовь.

Небогатый словами, ее рассказ о любви к Фаддею полон поэзии, напоминает старинные песни и причи-

тания. Ведь это своего рода плач по прошлому, по несостоявшемуся счастью. „Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...”; „Ой-ой-оиньки, головушка бедная...” — причитает она.

Автор словно вторит ей. В его речи начинают звучать интонации народной поэзии: „И шли годы, как плыла вода...” В его воображении рождаются фольклорные образы: „Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину, ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню, под небом, какие давно уже отстала петь деревня, да и не споешь при механизмах”.

Оплакивая свою героиню, он называет ее „бесприютульной”, неосознанно повторяя причитание Ирины Федосовой:

Не к кому горюше приютится,
Не к кому победной пришататися...

Судьба Матрены воистину трагична. Но не только потому, что она потеряла любимого человека, жила с нелюбимым, схоронила в младенчестве шестерых детей; не потому, что терзает ее черный недуг, что бьется она в нищете, что суждено ей погибнуть под поездом. Трагично ее безмерное одиночество. Никто не понимал, не любил, не жалел ее, потому что среди черных ворон она оставалась белой.

Прожила она всю жизнь в родном селе „непонятая и брошенная”, „чужая”, „смешная”. Соседи осуждают ее за то, что автору кажется в ней особенно ценным. О сердечности и простоте Матрены говорят они „с презрительным сожалением”. Упрекают ее, что она „не бережная”, что „не гналась за обзаводом (...) Не выбивалась, чтобы купить вещей и потом беречь их больше своей жизни”. И автор размышляет в связи с этим: „...д о б р о м нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людь-

ми постыдно и глупо". А героиня Солженицына берегла не добро, а доброту. И была несметно богата. Но духовных ценностей, которыми она обладала, никто не замечал, не ценил.

Глубокий смысл в рассказе обретает описание Матрениной избы. Одинокая среди людей, она окружена дома близкими „существами". Они-то и составляют особый, поэтический мир, созвучный ее душе. Она глубоко привязана к этому миру, а он живет своей независимой, простой и таинственной жизнью.

Так, про фикусы сказано: „они заполняли одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой". Фикусы сравниваются с лесом и словно составляют некую частицу мира природы. Даже о насекомых говорится в духе противопоставления их всему, что находится за пределами избы: „Кроме Матрены и меня, жили в избе еще: кошка, мыши и тараканы (...) По ночам, когда Матрена уже спала, а я занимался за столом, — редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршание их — была их жизнь".

Фикусы — как лес... Шуршание тараканов — как шум океана (даже не моря — океана!). Сама природа живет в бедном доме Матрены. И таков ее мир. Совсем другая жизнь, другие интересы кипят вне этого мира.

*

В образе Матрены воплощены некие общие черты, искони присущие русской крестьянке. Справедливо отмечалось ее сходство с тургеневской Лу-

керьей из рассказа „Живые мощи”³², с праведниками Лескова³³.

Можно бы и расширить литературную родословную солженицынской героини. Так, многое роднит ее с Платоном Каратаевым. Та же беспредельная доброжелательность к людям, те же незлобивость, простодушие, мудрое сердце, привычка к труду, певучая образная речь. Светлые грани народной души, столь любовно отраженные Толстым в его герое, горят-переливаются и в Матрене. Есть даже нечто общее в их внешнем облике: вспомним ее „круглое” лицо (эпитет этот повторяется не раз), ее „лучезарную добрую” улыбку.

Матрену, однако, не назовешь безропотной страдальцей. Она ощущает несправедливость, царящую вокруг. „Притесняют меня, Игнатич”, — жалуется она своему постояльцу. Кассиров, не хотевших продавать билеты на поезд, называет „паразитами нечувствительными”; тех, кто ловит баб, ворующих торф, — врагами. Но говоря о них, Матрена улыбается. И именно эта улыбка характерна: злобы нет в ее душе. Но присущ ей здравый смысл, интуитивное неприятие нелепых порядков.

Эти черты отчетливо проявляются в окончательной редакции „Матренина двора”³⁴. Вот, например, как изменился рассказ Матрены о работе в колхозе: „А только ни к столбу, ни к перилу у нас работа: станут бабы, об лопаты опершись, и ждут, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать... По мне работать — так чтоб звуку не было...” (журнальный текст). В подлинной редакции эти слова Матрены выглядят совсем иначе: „Станешь, об лопату опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать... Когда, бывалоча, по себе работали, так никакого звуку не было...”

Героиня Солженицына остро ощущает разницу

между нынешней и доколхозной жизнью: „Как лошадей не стало, так чего на себе не припрешь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает”.

В окончательном тексте рассказа восстановлены штрихи, свидетельствующие об отношении Матрены и к другим явлениям советской действительности. „В тот год повелось по две — по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги (...) Матрена хмурилась, неодобрительно вздыхала: 'Ездыт-ездыт, чего-нибудь и наездыт' (...) Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрена качала головой с печи: 'Ой-ой-оиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето' ”.

Темная тальновская крестьянка чувствует какое-то неблагополучие вокруг. „Но лоб ее недолго оставался омраченным”, — отмечает автор. И свой крест несет она тихо, спокойно, мужественно.

Ей присуща не только удивительная духовная сила, но и физическая. „Все мешки были мои”, — вспоминает она о том, как работала в молодости. И хотя она вовсе не отличается бесстрашием (боится пожара, молнии, поезда), в ней живет отважная, решительная душа. Как о чем-то вполне заурядном, рассказывает Матрена про „стихового коня”: „Раз с испугу сани понес в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила”. В другой раз, когда загорелась ночью изба, Матрена не растерялась и кинулась спасать свои любимые фикусы.

Как не вспомнить тут с детства знакомые строки Некрасова:

Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...

Но рядом с некрасовскими возникают в памяти и слова Наума Коржавина — об печальной судьбе русской женщины:

А кони все скажут и скажут,
А избы горят и горят...

В этих, казалось бы, удивительно простых словах заключена столь же глубокая скорбь, как и в рассказе Солженицына. „Матренин двор” — плач по праведнику, без которого не стоит село, но который в своем родном селе обречен на одиночество и гибель.

*

И все же, как ни горестен этот плач, есть в рассказе некий светлый луч, есть надежда, есть вера в неиссякаемую силу добра. Гибнет праведница Матрена, не оставив после себя ни друзей, ни потомков. Но село не опустело! Остался в нем жить другой праведник. Он-то и поведал людям о Матрене.

В „Одном дне Ивана Денисовича” повествование звучит как внутренняя речь Шухова. В „Случае на станции Кочетовка” рассказ ведет как бы стоящий за кулисами автор. В „Матренином дворе” рассказчик — одно из действующих лиц, свидетель и комментатор совершающихся на его глазах событий. Это, несомненно, автопортрет, но замаскированный и поднятый до уровня некого обобщения.

„Рассказ полностью автобиографичен”, — говорится в примечаниях к „Матренину двору”³⁵. Однако ведь не случайно повествователя Солженицын называет Игнатич, а не Исаич. Писатель отделяет себя от своего героя, несмотря на их явную и несомненную близость. Выражается она не только в сходстве биографических данных, но прежде всего в лирической тональности всего повествования. Душа автора так и светится в каждом слове: в оценке людей и событий, в общих раздумьях о жизни и смерти, о добре и зле. И слышится на протяжении

всего рассказа какая-то не передаваемая словами, за душу хватающая мелодия — чистая, высокая и печальная.

В системе образов „Матренина двора” учитель Игнатиц — лицо не менее значительное, нежели сама Матрена.

Представляется слишком узкой трактовка рассказа как произведения, прославляющего так называемое „патриархальное” крестьянство. Понятие праведничества вряд ли можно ограничить рамками той или иной социальной среды. Это понятие совсем из другой области — из сферы нравственной. И в рассказе Солженицына рядом с праведницей-крестьянкой стоит другой праведник — многострадальный русский интеллигент. Несмотря на различие культурных традиций, психологии, интересов, интеллектуального уровня, есть нечто главное, что сближает этих людей и связывает светлыми нитями духовного родства³⁶.

Прежде всего, к Игнатицу применимы слова, сказанные о героине рассказа: „Наворочено было много несправедливостей с Матреной”. Жертвой несправедливостей оказался и он. О прошлом этого человека говорится скупно, но и сказанного достаточно. Мимоходом упоминается, что он много лет просидел в тюрьме, что туго ему там приходилось („Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы”). Ассоциации с пережитым вызывают и слова, как бы брошенные между прочим: „Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях”.

Особенно глубоко в мир рассказчика помогает проникнуть самое начало „Матренина двора”. О перенесенных им страданиях, о том, как лагерь перевернул душу, обогатил горьким опытом, искалечил болью, научил по-новому воспринимать жизнь,

— обо всем этом прямо ничего не говорится. Но между строк раскрывается мироощущение автора-повествователя, просветленное в горниле страданий.

По мысли А. Шмемана, приобретенный Солженицыным опыт войны, опыт тюрьмы и опыт возвращения на свободу, — это опыт целого поколения. В двух предыдущих рассказах, — можем мы продолжить эту мысль, — запечатлен опыт тюрьмы и войны. В „Матренином дворе” запечатлен „опыт возвращения из тюрьмы, из лагеря в жизнь, в свой мир, переставший быть своим”. Во всей ткани рассказа, в каждой клеточке его отражено „это возвращение в жизнь с выстраданной отрешенностью от нее, с мучительным ясновидением правды, способностью по-новому видеть и оценивать все, на выверенных страданием весах совести...”³⁷.

Глубоко и точно раскрыт в этих словах, сказанных об авторе рассказа, духовный мир учителя Игнатича. Именно такого рода новое видение жизни и привело его в деревенскую глушь, помогло найти и оценить Матрену.

„Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять”, — так после краткого вступления начинается рассказ о судьбе двух праведников.

Как и Матрена, автор-повествователь один во всем мире. Но душа его полна любви. Не какому-то человеку, а к России, по которой он истосковался, к ее людям, языку, природе. Он говорит: „Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила.

В сердце Матрены неосознанно таится та же любовь. Вспомним ее желание сфотографироваться у старинного стана. „Видно, привлекало ее изобразить себя в старине”, — замечает автор. Вспомним ее манеру говорить в стиле старинной причеты или песни, ее слова, „как у бабушек в сказках”. Этих двух, казалось бы, столь разных людей сближает внутренняя принадлежность к той древней духовной культуре, которую вытеснила и вечная забота о куске хлеба, и пришедшая на место старой нынешняя лжекультура.

Игнатичу бесконечно дорог мир, с которым связана вся жизнь Матрены. Жадно вслушивается он в звуки родной речи. Слова женщины, продававшей молоко, „были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии”, — рассказывает он о поисках уголка, где хотелось ему поселиться. И названия окрестных деревень веселят его душу: „Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию”. Так пошел он за родным словом, как Иванушка в сказке за путеводным клубочком, и привело его это слово в избу Матрены. Здесь одинокий, усталый человек обрел родную душу и желанный покой.

Описание места, где стоял Матренин двор, напоминает пушкинские строки из „Евгения Онегина”:

Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины;
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи, —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых.

„Милей этого места, — вспоминает рассказчик, — мне не приглянулось во всей деревне: две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки...” Не столько даже совпадение деталей,

сколько общая тональность обоих пейзажей свидетельствуют о сходных чувствах писателя и поэта. Сходен в чем-то и их скромный жизненный идеал. Пушкин говорит:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

В этих словах — и усталость от жизни, и тоска по независимости, столь естественные для „усталого раба”, и пренебрежение к материальным благам. И Игнатич счастлив горьким счастьем бывшего зэка, „усталого раба”, обретя тихий угол и родную душу. Идеальной хозяйкой (хотя и не в пушкинском значении этого слова) стала для него Матрена.

Внутренняя близость постояльца и хозяйки двора проявляется прежде всего в равнодушии к житейским мелочам: к еде, к вещам, к тому, что принято называть „добром”. Он прекрасно себя чувствует в бедной Матрениной избе, безропотно ест изо дня в день „картовь и суп картонный”, потому что его, как и Матрену, жизнь научила „не в еде находить смысл повседневного существования”. Ценит он нечто куда более важное: „Мне дороже была эта улыбка ее круглого лица”.

Их быт, привычки, потребности сходны даже в мелочах. Так, Матрена укрывается „неопределенным темным тряпьем”. Игнатич — тулупом да лагерьной телогрейкой, „а снизу мешок, набитый соломой”.

Сближает этих двух людей и отношение к труду. Матрена с утра до вечера была чем-то занята. И ее постояльца мы видим обычно склонившимся над тетрадями, что-то пишущим или читающим допоздна. Для Матрены работа — лучшее лекарство. Поломав спину на чужом огороде и не взяв за свой труд ни копейки, она рассказывает: „В охотку копала,

уходить с участка не хотелось, ей-Богу правда!” И Игнатич любит свое дело. Обоим чужд тот стиль работы, который установился во всех сферах — и в колхозе, и в школе. Вспомним слова Матрены: „А только ни к столбу, ни к перилу у нас работа...” И честный учитель не хочет участвовать в нелепой борьбе за высокий процент успеваемости: „...обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь труд и звание свое”.

Публикуя „Матренин двор” в 1963 году, Солженицын скрывал свое подпольное писательское прошлое и поэтому убрал из рассказа детали, свидетельствующие о том, что его Игнатич был не только учителем, но и писателем. Теперь эти детали восстановлены. Изба Матрены, оказывается, привлекла его тем, что хозяйка была одинока, что по бедности не имела радио. Это создавало условия для его потаенной работы. (Солженицын как раз в ту пору писал роман „В круге первом”.) Матрена хороша была и тем, что не мешала его „долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами”. А обычные его занятия вот какие: „...поздно вечером (...) писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков”.

Вся жизнь Игнатича — жизнь подвижника. Угол, занимаемый им в избе, напоминает одинокую келью: „мирный настольный свет над книгами и тетрадями”, „суровая койка отшельника”. Пройдя долгий путь страданий, наконец обрел человек желанный покой!

Но в мир этот неожиданно врывается смерть и все разрушает.

Описание ночи Матрениной гибели проникнуто каким-то мистическим ужасом, словно речь идет не о смерти старой, никому не нужной крестьянки, а

о всемирной катастрофе. „Не только тьма, но и глубокая какая-то тишина опустилась на деревню”. Даже кухня, где происходила попойка, кажется ареной рокового бедствия: „Это было застывшее побоище (...) Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы”. О фикусах сказано, как о живых свидетелях несчастья: „испуганная толпа”.

Да и мыши — словно уже и не мыши: „Мыши пищали, стонали почти, и все бегали, бегали. Усталой бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрена невидимо металась и прощалась тут, с избой своей”.

Рассказчик не плачет над прахом Матрены, не произносит надгробных речей. Но так и видишь его одинокую фигуру среди родственников и односельчан покойной — его пронзительные глаза, скорбный рот...

Весь рассказ, и особенно концовка его — поминальное слово над прахом усопшей праведницы. В этом слове — светлый мир ее души. В этом слове — и его душа.

Рисует ли он лицо Матрены, говорит ли о ее равнодушии к нарядам, в словах его выражаются самые заветные мысли. И слышится голос праведника, голос проповедника: „У тех людей лица всегда хороши, кто в ладах с совестью своей...”; „Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев...”

...Лидия Чуковская вспоминает, что „Матренин двор” полюбился ей даже больше, чем „Один день Ивана Денисовича”. Первая вещь Солженицына, по ее словам, „ошеломляет смелостью, потрясает материалом — ну, конечно, и литературным мастерством; а „Матренин двор”... тут уже виден великий художник, человечный, возвращающий нам родной

язык, любящий Россию, как Блоком сказано, смертельно оскорбленной любовью”³⁸.

*

В начале „Матренина двора” говорилось о желании повествователя обрести „нутрянную Россию” — и тут же ставился вопрос: „...если такая где-то была, жила”? Если... Ответом на этот вопрос является весь рассказ. Но напрасно мы стали бы в нем искать прямолинейное „да” или „нет”.

В Высоком Поле сохранилась русская природа в неприкосновенном виде. Вокруг Торфопродукта ретивый начальник напрочь свел „дремучие, непроходимые леса”. Изменились и названия деревень: рядом со старинными, поэтическими появились такие безобразные, как „Торфопродукт”. Жители Тальнова утратили черты старинной народной морали, связь с вековыми традициями. Но среди тальновцев ведь жила Матрена! Она гибнет одинокая, непонятая. Но остается в селе другой праведник, сумевший и оценить ее, и поведать нам о ней.

Духовному обнищанию народа противопоставлено духовное богатство немногих, чья душа устояла против растлевающего влияния уродливой жизни. Тема праведничества становится центральной в рассказе. Завершается он скорбной, но светлой нотой:

„Все мы рядом с ней жили и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша”.

В этой пословице — ключ к пониманию глубинного смысла рассказа, его всеобъемлющего и пророческого значения. Истинность этой пословицы подтверждает история России за последние десяти-

летия. Ведь на ком же, как не на праведниках, зиждется единственная надежда?! Нет, не погиб народ, не погибла „вся земля наша”, если дала она миру Солженицына, Сахарова и десятки других известных и неизвестных подвижников.

Триптих о душе современного человека, и шире, об извечной борьбе добра и зла в душе человеческой, завершается выражением веры в силу бессмертного начала — праведничества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Г. Б а к л а н о в. Чтоб это никогда не повторилось. — „Литературная газета”, 22 ноября 1962 г. См. обзор критических статей о Солженицыне в статье Н. Т а р а с о в о й „Вхождение Александра Солженицына в советскую литературу и дискуссии о нем”. — Собрание сочинений А. Солженицына в шести томах. Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1970, том VI.

2. В последнем, девятитомном собрании сочинений (Вермонт-Париж, ИМКА—ПРЕСС, 1979) писатель восстановил точное название станции — Кочетовка. В журнале рассказ был озаглавлен „Случай на станции Кречетовка”. См. примечания, том III, с. 328.

3. Н. Т а р а с о в а. По гоголевским заветам. — „Посев”, 1963, № 39.

4. Л. Р ж е в с к и й. Творец и подвиг. — Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1972, с. 73.

5. Выступление А. Б е л и н к о в а на обсуждении „Ракового корпуса”. — „Новый журнал”, 1968, № 93, с. 243.

6. „Вестник РХД”, № 120, с. 137.

7. См., например, статью Н. П а ш и н а „Язык и структура 'Августа четырнадцатого'”. — „Новое русское слово”, 21 ноября 1971 г.

8. Мих. К о р я к о в. „Иван Денисович”. — „Новое русское слово”, 23 декабря 1962 г.

9. На это впервые обратил внимание В. З а в а л и ш и н в статье „Повесть о мертвых домах и советском крестьянстве”. — „Грани”, № 54, с. 76.

10. А. Солженицын. Собр. соч., том VI, с. 235.
11. Там же, с. 311.
12. О роли рассказчика в „Одном дне Ивана Денисовича” см.: Л. Р ж е в с к и й. Творец и подвиг. Очерки по творчеству Солженицына. — Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1972; Л. Р ж е в с к и й. Творческое слово у Солженицына. — В книге: „Прочтение творческого слова”, Нью-Йорк, 1970.
13. Д. Б л а г о в. Солженицын и духовная миссия писателя. — В книге: А. Солженицын. Собр. соч. в шести томах, Франкфурт-на-Майне, „Посев”, 1970, том VI, с. 522.
14. Роман Г у л ь. Солженицын. Статьи. — Нью-Йорк, 1976, с. 93.
15. „Новое русское слово”, 5 февраля 1963 г.
16. „Новое русское слово”, 17 февраля 1963 г.
17. „Новое русское слово”, 24 февраля 1963 г.
18. „Бодался теленок с дубом”, с. 96.
19. Это впервые отметил В. Л а к ш и н в статье „Иван Денисович, его друзья и недруги”. — „Новый мир”, 1964, № 1. См. также вышеназванную статью Н. Т а р а с о в о й „Вхождение Солженицына в советскую литературу и дискуссии о нем”.
20. Интересные соображения о Фетюкове см. в статье Д. Б л а г о в а „Солженицын и духовная миссия писателя”.
21. Л. Р ж е в с к и й. Прочтение творческого слова, с. 252.
22. Д. Б л а г о в. Солженицын и духовная миссия писателя, с. 144.
23. Милован Д ж и л а с. Несокрушимая вера. Цитируется по статье Мих. К о р я к о в а. — „Новое русское слово”, 2 июня 1974 г.
24. А. К о г а н. Герой и время. — „Вопросы литературы”, 1964, № 7.
25. Д. С т а р и к о в. Реальная нравственность. — Там же, с. 30.
26. Прот. Александр Ш м е м а н. О Солженицыне. — „Вестник РХД”, 1970, № 98, с. 76.
27. „Бодался теленок с дубом”, с. 55.
28. „Новый мир”, 1964, № 2.
29. В. П о л т о р а ц к и й. Матренин двор и его окрестности. — „Известия”, 3 марта 1963 г.
30. „Матренин двор” напечатан в „Новом мире”, 1963, № 1; „Вологодская свадьба” — в „Новом мире”, 1962, № 12.

31. А. Солженицын. Собр. соч., том IX, с. 322.

32. Е. Траубер. „Матренин двор” Солженицына и „Живые мощи” Тургенева. — „Грани”, 1964, № 55.

33. Л. Ржевский. Творец и подвиг, с. 70—72. См. также: Р. Плетнев. Со всей искренностью. — „Новое русское слово”, 27 апреля 1969 г.; М. Залужская. Матрена и ее двор. — „Новое русское слово”, 28 сентября 1969 г.; Елена Костиц. Две стороны идеи. — „Новое русское слово”, 19 марта 1969 г.

34. В „Новом мире” был напечатан „облегченный” текст рассказа. Полный текст его впервые опубликован в девяти-томном собрании сочинений, том III.

35. А. Солженицын. Собр. соч., том III, с. 327.

36. В статье В. Гребенщикова „Матрена, Фаддей и другие” высказана мысль о сходстве Игнатича с Матреной. — „Новое русское слово”, 30 ноября 1969 г.

37. Прот. Александр Шмеман. О Солженицыне. — „Вестник РХД”, 1970, № 98, с. 76.

38. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. — Париж, ИМКА—ПРЕСС, 1976, с. 472.

О свободе и самоуправлении в России

Часть 1

Распространенное мнение о том, что русский народ всегда жил в рабстве, привык к нему и стал неспособен к устройству своей жизни на началах свободы и самостоятельности, противоречит историческим фактам. Конечно, свет и тени неизбежны в истории всякой страны, и в России этот контраст проявлялся особенно резко. Государственное „тягло“ слишком тяжело лежало на плечах населения и задерживало развитие общественной самостоятельности. За периодами реформ следовали периоды реакции: после реформ местного управления в 50-х годах XVI века пришла опричнина; в XIX веке после Сперанского пришел Аракчеев; после великих реформ 60-х годов пришел Победоносцев.

Но многие современные авторы, сочиняя свою историю России, замалчивают ее светлые стороны и, подчеркивая одни темные, приходят к выводу, что установившаяся в 1917 г. тоталитарная власть была не новым явлением в истории, а лишь продолжением „царизма“. На самом деле в нашем прошлом

Настоящие очерки были отредактированы и подготовлены к печати Борисом Сергеевичем Пушкаревым, за что редакция выражает ему свою самую искреннюю признательность.

были заложены возможности разных вариантов свободного развития страны. Задача настоящего обзора — напомнить о существовавших в русской истории началах политической свободы и общественной самостоятельности. Знакомство с ними поможет в поисках выхода из тоталитарного тупика.

1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (XI—XV вв).

Восточнославянские племена жили в VIII—IX веках в условиях первобытной племенной демократии. Варяжские князья со своими дружинами принесли на Русь в IX—X веках начала государственной организации. Двигаясь из Скандинавии в Византию по линии Волхов — Днепр, варяги захватывали некоторые русские города и оседали в них. В 882 г. могучий варяжский витязь Олег захватил Киев и стал основателем великого княжества Киевского.

Меч Олега и следовавших за ним обрусевших князей-рюриковичей очертил широкий круг восточнославянских земель, покорившихся власти великого князя киевского; но у князя не было ни военных, ни финансовых, ни административных сил и средств, чтобы организовать управление своей необъятной империи. Его отношение к своим „подданным” выразилось главным образом в том, что посылаемые им по областям дружинники собирали с населения дань. Завещание Ярослава Мудрого, разделившего в 1054 г. свои владения между своими пятью сыновьями, положило начало распаду великой Киевской державы, который продолжался в течение трех веков, параллельно размножению владетельного рода князей-рюриковичей. При этом в областных городах вместо наместников

великого князя Киевского сидели собственные князья.

Князь, как правило (не говорим о междукняжеских войнах и захватах), получал свою власть по наследству или по завещанию. Он был главой войска, высшим судьей и правителем, но власть его отнюдь не была абсолютной.

Политический строй древнерусских княжеств характеризуется своеобразным сочетанием двух начал: монархического, в лице князя, и демократического, в лице *веча*, народного собрания в „старших” областных городах. По свидетельству начальной летописи, „новгородцы изначала и кияне, и смоляныне, и полочане, и вся власти (то есть волости или области) на *веча* сходятся и на что же старейшие сдумают, на то и пригороды станут” (то есть малые города области принимают решения народного собрания главного города).

При вступлении на престол нового князя формальных договоров (за исключением Новгорода Великого) не заключалось. Князь обещал населению его „любити и добра хотети”, и народ сажал его на княжий „стол” в главной церкви города и не вмешивался в текущие дела управления, если князь был народу „люб”. Но если князь возбуждал недовольство народа своими злоупотреблениями или насилиями, то *вече* обращалось к нему с требованием: „Поеди, княже, от нас прочь, не хотим тебе!” и затем посылало послов к более достойному кандидату с приглашением: „Поеди, княже, к нам, хотим тебе”.

Таким образом, основания для занятия княжеских „столов” в древней Руси были или легально-династические („отчина”, „дедина”), или морально-политические — воля народа. И те и другие признавались действительными. В 1146 г. киевский

князь Изяслав отвечает своему сопернику: „Ци сам есмь в Киеве? Посадили мя кияне”.

Была еще одна, весьма важная, область, в которой голос вече был решающим: это были вопросы о войне и мире при защите от внешних врагов и при междоусобных войнах князей. Собственная дружина князя (его „гвардия”) была невелика числом и недостаточна для ведения серьезной войны; для этого нужно было созвать народное ополчение, что было невозможно без согласия веча. При этом вече оказывалось иногда более воинственным, чем князь, иногда менее.

Когда в 1068 г. половцы разбили киевское войско и рассеялись по русской земле для грабежей, то прибежавшее в Киев ополчение потребовало от князя оружия и коней для продолжения борьбы; Изяслав I не исполнил требования, и разгневанные „кияне” выгнали его из Киева. В 1149 г. киевский князь Изяслав II хотел идти войной на черниговского князя Юрия, но „киянам же не хотящим, глаголющим: мирися, княже, мы не идем”, и князю пришлось мириться.

Татарское завоевание в 1237—1240 гг. нанесло вечевому строю русских земель смертельный удар (но строй этот сохранился в Новгороде и Пскове). Теперь князьям не нужно было искать популярности в народе, они получали свою власть не по желанию или согласию веча, а по „ярлыкам” на княжение, которые им давал татарский хан. После этого и вечевая жизнь в средних областях Российской равнины замирает.

Однако население этих областей не стало покорными рабами татарских ханов: в 1262—1263 гг. во многих городах Среднего Поволжья произошли восстания. Татарские „баскаки”, собиравшие дань с населения, и сопровождавшие их военные отряды

были перебиты. Великий князь Александр Невский „отмолил” хана от посылки карательной экспедиции для разгрома мятежных городов, но татарские ханы благоразумно решили не посылать больше своих чиновников по русским городам для сбора дани с непокорных подданных, а поручили этот сбор русским князьям.

Особым был политический строй „господина Великого Новгорода”, столицы огромного пространства севера и северо-востока Русской равнины. На рубеже XI—XII в. Новгород приобретает политическую независимость от великого князя киевского, и верховным органом власти здесь становится *вече*. В конце XII в. право новгородского веча выбирать себе любого князя было бесспорным и общепризнанным. В Новгородской летописи, в записи 1196 г., сказано: „А Новгород выложиша вси князи в свободу: где им любо, ту ж себе князя поимают”. Во время татарского нашествия Новгород не подвергся разгрому и не был захвачен татарскими войсками. Татары взымали с Новгорода определенную дань, но в его внутреннюю жизнь они совершенно не вмешивались, и до 1478 г. „господин Великий Новгород” по своему политическому устройству был демократической республикой. В социально-экономической жизни Новгорода было резкое неравенство классов, раздоры и борьба, но мы говорим здесь о политическом строе.

Власть новгородского веча была всеобъемлющей. Оно решало все важные вопросы внутреннего управления и внешней политики. Оно избирало посадника и тысяцкого, возглавлявших новгородское правительство. Оно же избирало князя, который был нужен Новгороду главным образом как начальник вооруженных сил.

Избрав нового князя, „господин Великий Новго-

род” заключал с ним формальный договор, причем князь под присягой обещал исполнять условия этого договора. Власть князя значительно ограничивалась обязательным сотрудничеством князя с посадником. „А без посадника ти, княже, суда не судити, ни волостей раздавати, ни грамот давати”. Грамоты с пожалованиями земельных угодий и других выгод исходили от имени „господина Великого Новгорода” и составлялись в вечевой избе, во главе которой стоял „вечный дьяк”.

В области внешней политики князь обязывался „войны не замышлять без новгородского слова”, то есть без постановления веча не вмешиваться в новгородско-немецкую торговлю, не закрывать немецкого двора в Новгороде. Словом, новгородский князь был лишь одним из трех высших чиновников, которых назначало и увольняло всевластное народное вече.

Другой древнерусской республикой был „младший брат” Новгорода, „господин Псков”. Псковский летописец в повести об аннексии Пскова Москвою в 1510 г. пишет: „Сей убо град Псков никоим же князем не владом бе, но на своей воле живяху сущие в нем людие”. Древний город Псков был сильной военной крепостью на западной границе русского мира и в течение трех столетий успешно защищал эту границу от почти непрерывных нападений Ливонского рыцарского ордена.

Политическое устройство Пскова было подобно новгородскому. На собрании веча „мужи-псковичи” избирали двух посадников, приглашали князя и решали все важные вопросы внутренней и внешней политики, — в частности, постоянно возникавший вопрос о созыве народного ополчения псковской области для войны с ливонскими немцами.

Порядок законодательства формулировала псковская „судная грамота”: если ее следовало дополнить новой „строкой” (статьей), то „посадникам доложить господину Пскову на вече, да тоя строка написати. А которая строка в сей грамоте не люба будет господину Пскову, ино та строка вольно выписать вон из грамоты”.

Социально-экономический строй в небольшой и тесно сплоченной Псковской области был гораздо устойчивее и внутренние конфликты были менее резкими, чем в Новгороде. Псковские земледельцы („изорники”) не были ни рабами, ни крепостными бояр-землевладельцев и в случаях нарушения их прав, установленных договорами, они могли искать защиты судебным порядком. При этом и истцы-изорники и ответчики-землевладельцы выступали на суде как равноправные стороны.

2. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XVI—XVII вв.)

„Собирание” Русской земли московскими государями, начатое в XIV в., было закончено к середине XVI в., и в 1547 г. „великий князь Владимирский и Московский” официально превратился в „государя *царя* Московского и всея Руси”. Характерными чертами Московского государства были, по словам В. О. Ключевского, „боевой строй” и „тягловой строй”. При почти непрерывной войне на трех фронтах — южном, западном и восточном — оно нуждалось в значительных военных силах. Но в условиях преимущественно натурального хозяйства у него не было денежных средств для содержания регулярной армии. Оставался один путь — раздача государственных населенных земель служилым людям с обязательством, чтобы они по

приказу государя выступали в поход „конны, людны и оружны”. И так, землевладельцы были обязаны нести военную службу, а их крестьяне были обязаны своим трудом содержать военно-служилое сословие.

В XVI в. крестьяне еще имели право переходить от одного землевладельца к другому, но военно-служилые люди многократно и настойчиво просили правительство запретить крестьянские переходы, иначе их владения запустеют и им станет „государевой службы служить не мочно”. Уложение 1649 г. закрепило крестьян за своими господами, но они еще не стали их „холопами” или рабами; смешение этих двух классов произошло только в XVIII веке.

Что же касается свободного сельского и городского населения, то на него, помимо денежных платежей разного рода, было наложено „тягло” натуральных повинностей, в частности, поставка множества „голов” и „целовальников” (присяжных) для бесплатного обслуживания многочисленных финансовых и экономических нужд государства.

Естественно, что при таком строе и при огромном пространстве государственной территории в центре должна была стоять сильная и авторитетная власть. По словам Г. В. Вернадского, „самодержавие и крепостное право были ценой, которую русский народ должен был заплатить за свое национальное самосохранение”.

Не будучи связан какими-нибудь формально-юридическими ограничениями своей власти, московский самодержавец, однако, не был (за исключением восьми лет опричнины) своевольным деспотом. Он был морально связан установившимися обычаями и традициями, выслушивал — и обычно исполнял — „приговоры” боярской думы, а в чрезвычайных случаях созывал „совет всея земли”

(получивший в исторической литературе название „земский собор“).

Местными администраторами и судьями были в XV—XVI вв. назначаемые государем наместники (в городах) и волостели (в сельских местностях). Они назывались „кормленщиками“, ибо их вознаграждением были „кормы“, натуральные или денежные, платимые местным населением по установленным нормам. Их власть также не была неограниченной и бесконтрольной. В суде у них должны были сидеть и „правды стеречи“ представители местного населения — „добрые люди“ или „судные мужи“. По судебнику 1550 г. присутствие в суде наместников местного старосты и „целовальников“ было сделано всеобщим и обязательным. А дела преследования и наказания разбойников вел в XVI—XVII вв. избираемый населением „губной староста“ с помощью „губных целовальников“.

В 50-х годах XVI в. целым рядом уставных грамот управление „кормленщиков“ в разных областях Северной и Центральной России вовсе отменяется и передается в руки старост и земских судей, которые должны будут судить „вправду“ и „безволокидно“, а вместо „наместничьих кормов“ будут платить оброк в царскую казну.

В смутное время органы местного самоуправления в центральных и северных областях — посадские (то есть городские) и волостные (то есть крестьянские) миры — сослужили великую службу русскому народу и государству.

Вступивший на престол после убийства первого Лжедмитрия князь Василий Шуйский (который, по выражению современника, „внезапно и самодвижно воздвигся и сам царь поставися“, без избрания „всея земли“) не пользовался авторитетом у народа. Его соперник, второй Лжедмитрий, уст-

роил в селе Тушино под Москвой свой „царский двор”, и под его знамена собрались неимущие, недовольные и анархически настроенные элементы, стремившиеся к власти и „бестручному богатству”. Оба самозванных царя рассылали по городам грамоты с требованиями повиновения и присылки ратных людей, денег и припасов. В городах забурилась политическая жизнь. На собраниях, созываемых городскими властями, собирались все слои населения и горячо обсуждали политическую ситуацию. Так на городских площадях XVII в. как бы возродилось древнерусское вече.

Положение осложнилось в 1610 году, когда Василий Шуйский был свергнут с престола и московские бояре, опасаясь победы „Тушинского вора”, заключили договор с польским королем Сигизмундом о призвании на московский престол королевича Владислава Сигизмундовича. Владислав не явился в Москву, но отряд польских войск занял Кремль, и грамоты из Москвы по городам рассылались от имени царя Владислава Жигимонтовича. Однако русский народ его своим царем не признал, „Тушинский вор” был убит, и государство Московское стало „безгосударным”.

Православное духовенство — патриарх Гермоген, а после его смерти в заключении руководители Троице-Сергиева монастыря архимандрит Дионисий и келарь Авраам Палицын — рассылали по городам грамоты, возбуждающие религиозно-национальные чувства и протестующие против принятия на русский престол иноземца и иноверца. По городам снова созываются всенародные собрания. Собираются деньги, съестные и боевые припасы, призываются или нанимаются ратные люди, формируется так называемое „первое земское ополчение”. Оно состояло из двух частей: 1) московских дворян и

детей боярских с их военными слугами и 2) донских казаков. Летом 1611 г. ополчение подошло к Москве, но между его двумя частями произошел раздор, казаки убили вождя земских людей Прокопия Ляпунова и ополчение распалось. Однако тяжелая неудача не обескуражила земские миры.

Средневожские города, начиная с Нижнего Новгорода, становятся центром формирования второго земского ополчения. Командовать им был призван князь Дмитрий Пожарский, а посадский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин стал казначеем земской рати. Рассылаемые из Нижнего призывные грамоты о помощи встречали живой отклик посадских и волостных миров, и силы ополчения росли. В марте 1612 г. оно двинулось на запад и в апреле пришло в Ярославль. Здесь земская рать пробыла около четырех месяцев, готовясь к походу на Москву. В эти месяцы Россия стала как бы республикой, Ярославль — ее столицей, а командование земской рати — „князь Пожарский со товарищи” — ее правительством. Оно созвало в Ярославль „выборных людей” от местных миров, и здесь образовался „совет всея земли”. Отсюда рассылались уже не только воззвания, но и прямые приказы.

В августе земская рать пришла к Москве. Здесь в казацком лагере произошел раскол; анархически настроенная часть казаков, под командой атамана Заруцкого, ушла на юг; большинство казаков, под командой кн. Трубецкого, осталось для совместных действий с земской ратью, и впоследствии представители донских казаков принимали активное участие в земском соборе, избравшем на престол Михаила Романова.

22 октября 1612 г. Кремль был взят, польский гарнизон сдался в плен, и главной заботой вождей земского ополчения стала тщательная подготовка

земского собора для „великого дела” — всенародного избрания нового царя. На собор созывались выборные люди от „всякого чину” служилых людей, от посадских и северных „всеуездных” миров, от подмосковных „черных сотен и слобод”, от донских казаков, стоявших в лагере под Москвой. В декабре „выборные люди” стали съезжаться в Москву, в январе и начале февраля они долго обсуждали трудный вопрос и, наконец, согласились на кандидатуре 16-летнего Михаила Федоровича Романова, из популярной боярской фамилии. Затем был устроен своего рода референдум: собор послал по городам своих послов, чтобы узнать, как население на местах отнесется к кандидатуре Михаила. Послы привезли положительные ответы, и в феврале 1613 г. Михаил был провозглашен царем всея Руси.

Земский собор 1613 г. был не единственным собором, которому пришлось избирать нового царя. За пятнадцать лет до этого, в 1598 г., когда умер последний царь из династии Рюриковичей Федор Иванович, не оставивший ни сына, ни завещания, то собрался „совет всея земли” и выбрал на царство боярина Бориса Федоровича Годунова, который при слабом царе Федоре был фактическим правителем государства. Широковещательная избирательная грамота собора (составленная, надо полагать, руководившим собором патриархом Иовом) приводит два основания для избрания Бориса. Первое — это „всенародное желание”, и грамота приводит религиозно-демократическое изречение: „глас народа — глас Божий”. Второе — это родственная связь Бориса с угасшей царской династией: царь Федор был женат на сестре Бориса. Здесь, как и в древней Руси, переплетаются демократический и монархический элементы.

Земские соборы как совещания Московского царя с выборными от населения „добрыми и разумными людьми” по важным вопросам внутреннего управления и внешней политики начались почти одновременно с рождением московского царства (1547 г.) Представим краткий обзор важнейших из них*.

В 1550 г. первый царь совещался с „добрыми людьми” об устройении и укреплении государственного порядка, а церковный собор („Стоглав”), руководимый митрополитом Макарием, принял сто постановлений (согласно запросам царя) об устранении возникших в церковной жизни беспорядков.

В 1566 г. земский собор должен был ответить на вопрос царя: следует ли продолжать Ливонскую войну или мириться на условиях, предложенных противником? Собор высказался против принятия этих условий, и война продолжалась.

Положение избранного на царство собором 1613 г. молодого и неопытного Михаила Романова было непрочным, и он едва ли удержался бы на троне без активной поддержки „земских людей”. В течение первых семи-восьми лет его царствования земский собор заседал в Москве (конечно, обновляя свой состав) почти непрерывно. Положение страны было чрезвычайно тяжелым: грабя и поджигая жилища, еще бродили шайки „воровских людей”; еще продолжалась (до 1618 г.) война с Польшей; военная и административная системы были потрясены; царская казна была пуста. Выборные земские люди усердно помогали царю и правительству преодолеть все эти беды, и указы из Моск-

* В 1978 г. в Москве вышла богато документированная книга акад. Л. В. Черепнина „Земские Соборы Русского государства в XVI—XVII вв.”

вы о собирании военных сил и о платеже казенных податей рассылались по приказаниям государя и „совета всея земли”.

В 1632 и 1634 гг. земскому собору пришлось принять участие в решении вопросов о войне и мире с Польшей.

В 1643 г. в Москве собрался так называемый Азовский собор. Донские казаки в 1637 г. взяли сильную турецко-татарскую крепость Азов и в 1640—1642 гг. выдержали осаду турецко-татарского войска, но у них не было сил для постоянной защиты Азова, и они просили царя Михаила взять крепость „под свою высокую государеву руку”. Царь созвал земский собор для обсуждения трудного вопроса — „и Азов от казаков принимать ли? и войну с Турцией и Крымским ханством начинать ли?” Выборные люди были разделены на несколько групп. Каждая должна была „крепко помыслить” и представить письменный ответ („сказку”). Выборные люди, предоставляя решение вопроса государю, указывали на тяжелое экономическое положение страны, а одна группа служилых людей писала: „А мы, государь, пуще чем от крымских и турецких бусурманов разорены от московской волокиты и от неправд и от неправедных судов”. Прочтя эти невеселые „сказки”, царь отказался от мысли о войне с Турцией и Крымом и приказал казакам оставить Азов и отойти на Дон.

Во внутреннем строе Московского государства весьма важное значение имел так называемый „Уложенный Собор” 1648—1649 гг., созданный царем по „челобитьям” земских людей и имевший целью составление нового Уложения, то есть кодекса законов, который должен был заменить устаревший Судебник 1550 г. Проект нового Уложения был составлен правительственной комиссией и пе-

редан на рассмотрение „выборных людей”, которые весьма тщательно обсудили проект и внесли в него много дополнительных статей. Ведущей идеей этого кодекса было, „чтобы в Московском государстве всяких чинов людям суд и расправа во всех делах была равна”. Однако, вопреки этому благому намерению, в главу XI было внесено запрещение крестьянам (со всеми родственниками и потомством), жившим на землях помещиков и вотчинников, покидать своих господ, и таким образом „крепостное право” стало государственным законом.

В середине XVII века весьма трудным для московского правительства был украинский вопрос: гетман Богдан Хмельницкий, желая избавиться от польской власти, многократно просил царя Алексея Михайловича принять Украину „под высокую государеву руку”, но Московское правительство долго уклонялось от определенного ответа и решило обратиться за советом к Земскому собору. Собранный в 1653 г. собор единодушно дал утвердительный ответ на вопрос о принятии Украины, и правительство начало тяжелую войну с Польско-Литовским государством, продолжавшуюся 14 лет.

Земские соборы не имели определенного устава, и состав представительства отдельных групп населения не был всегда одинаков. Соборы полного состава составлялись как бы из двух „палат”: верхнюю образовывали боярская дума и „освященный собор” (высшее духовенство), а нижнюю — выборные люди. Наиболее полным было представительство служилых людей „всех чинов” — кончая стрельцами и пушкарями, которых, впрочем, представляли их командиры; далее были представлены посадские люди (жители Москвы и провинциальных городов), московские „черные сотни” (простонародные) и подмосковные слободы (их естественными

представителями были их старосты). Волостные крестьяне не имели своего особого представительства, но надо иметь в виду, что в северных областях существовали „всеуездные миры”, в состав которых входили и посадские люди, и волостные крестьяне.

В течение второй половины XVII в. деятельность общеземского народного представительства замирает. Правительство призывает лишь группы служилых или посадских людей на совещания по особым вопросам. Растет бюрократизация и централизация управления. Воеводы, назначенные по городам для восстановления потрясенного в Смутное время государственного порядка, становятся постоянными и главными представителями местного управления. Выборные представители на местах — старосты и целовальники — в центральных областях все больше играют вспомогательную роль при воеводском управлении. Но придавленное государственным „тяглом” и страдающее от злоупотреблений власти городское население порой громко заявляет свой протест. В середине XVII в. произошло несколько крупных бунтов простонародья в Москве и в „вечевых” городах — Новгороде и Пскове. А значительная часть крестьянства, загнанного в крепостную неволю, отозвалась на это большим восстанием, возглавленным донским казаком Степаном Разиным (1670—1671).

Совершенно иным было положение на огромном пространстве русского севера, где не было ни крупного землевладения, ни крепостного крестьянства. Здесь „пахотные” земли были небольшими островками среди необъятного моря лесов и болот. Юридически эти земли, как и вся территория, принадлежали царю, и крестьяне в актах называли их „земля великого государя, а нашего владения”. Но фак-

тически это владение не отличалось от собственности, ибо крестьяне свободно распоряжались своими участками, продавая, даря, и обменивая их. Крестьяне-домохозяева составляли свои волостные миры, бывшие органами местного самоуправления*. Волость („староста со крестьяны“) распоряжались землями общего пользования — лесами, пастбищами, а также рыбными промыслами.

Волость на севере была основной организацией крестьянской жизни, не только административной, но и общественной, и церковной. Волостной сход избирал волостного старосту и его помощников — „целовальников“ разного рода. При „тягловом строе“ Московского государства выборные власти этих крестьянских „республик“ должны были заботиться об удовлетворении не только своих волостных, но и общегосударственных потребностей, в особенности об исправном сборе „государевых“ податей. „Разрубные целовальники“ распределяли общую сумму податей, причитающихся волости, между отдельными дворами соответственно их имуществу и доходам, а потом „данные целовальники“ собирали государеву дань и отвозили ее в Москву.

„Староста со крестьяны“ должен был заботиться об исправном отбывании натуральных повинностей, а во время войны поставлять „даточных людей“ для обслуживания нужд действующей армии и подводы для доставки в армию припасов. Староста был представителем волостного мира при сношениях с государственными властями и „мирским челобитчиком“, когда надо было от имени мира обратиться к властям с просьбой или жалобой. „Судные це-

* См. двухтомное исследование М. М. Б о г о с л о в с к о г о „Земское самоуправление на русском севере в XVII в.“. Москва, 1909, 1912.

ловальники”, также выбранные волостным сходом, разбирали тяжбы между крестьянами и мелкие уголовные дела.

Волостной мир не вмешивался в хозяйственную жизнь отдельных своих членов, но в его ведении были земли и угодья общественного пользования: леса, пастбища, рыбные промыслы. Некоторые угодья мир сдавал в аренду. На пустующие земли мир призывал новых поселенцев, чтобы увеличить в волости число „тяглецов”, исполняющих государственные обязательства. В случае надобности мир оказывал своим членам или осиротевшим семьям помощь.

Особенно широка и плодотворна была деятельность волостного мира в церковной жизни. Северная волость обычно совпадала с церковным приходом. Волостные крестьяне строили и содержали свой приходской храм. К концу XVII века северная Русь была густо покрыта деревянными церквями, построенными и украшенными крестьянскими мастерами-художниками. Впоследствии стиль и красота этих храмов вызывали восхищение историков и знатоков искусства.

Северные крестьяне выбирали себе приходского священника, точнее кандидата в священники, которого утверждал епархиальный архиерей. Мирскому избраннику вручалась грамота — „излюб” — свидетельствующая, что он есть человек добрый и „нам всем крестьянам он люб”. Епископ экзаменовал кандидата (не слишком строго) и выдавал ему грамоту о поставлении его на должность священника в данном приходе. Для ведения хозяйственных дел прихода мир выбирал церковно-приходского старосту, который вел запись церковных приходов и расходов и периодически представлял миру (то есть волостному сходу) финансовый отчет.

Эта тесная духовная и хозяйственная связь клира и мира была, как известно, оборвана церковной реформой Петра Великого, подчинившего церковь государственному управлению.

В заключение обзора московского периода следует напомнить о двух группах московского населения, которые утвердили свое стремление к свободе за пределами власти московских воевод и дьяков. Это были казаки и сибирские землепроходцы.

В середине XVI века, когда уже стал складываться московский „тягловой” строй, многие энергичные и свободолюбивые молодые люди бежали от царского и помещичьего тягла на юго-восток русской равнины, где образовались три вольные военно-демократические казачьи республики: на Дону, Тереке и Яике (Урале).

Наиболее важным из них — и по величине, и по историческому значению — было „Великое войско Донское”, которое состояло из „станиц” и „городков”, занявших территорию по среднему Дону и его притокам. Верховным органом управления на Дону был собиравшийся сначала в Раздорах, а потом в Черкасске, Войсковой Круг. Он избирал (и сменял) войскового атамана, есаулов и других должностных лиц; выбирал состав посольств, посылаемых в Москву; давал разрешения на постройку новых городков; разбирал земельные тяжбы между городками; разбирал дела по тяжким уголовным преступлениям (и в случае виновности подсудимого приговаривал его „посадить в воду”, то есть утопить в Дону). В области внешних сношений войсковой круг принимал решения о морских походах на крымское или турецкое побережье; вел сношения с Запорожским казачеством, с Азовом и калмыками.

Московское правительство ценило донское казачество как надежную охрану юго-восточной границы против набегов крымских и ногайских татар и регулярно посылало казакам деньги и боевые и съестные припасы, но попытки Москвы закрепить службу казаков присягой верности Московскому царю долго не удавались. Казаки отвечали, что „крестного целования на Дону не повелось” и что служат они государю „не с вотчин и поместий (как служилые люди), а „с воды да с травы”, и потому считают свою службу добровольной. Лишь после подавления восстания Степана Разина (в 1671 г.) казаки согласились присягнуть, что они не будут помогать „царским недругам”, а в 1676 г., при вступлении на престол Федора Алексеевича, они приняли общую присягу верности.

Весьма важная привилегия донского казачества выражалась в формуле „с Дону выдачи нет”. Даже в том случае, когда хозяин беглого крестьянина или холопа установил его местожительство, московское правительство не могло возвратить ему беглеца. В социальном отношении между донскими казаками долгое время господствовало полное равенство, но во второй половине XVII в. оно стало нарушаться. Появились богатые казаки, которые стали разводить коней и скот. Появились и бедные „новоприходцы”, которые жили и работали в хозяйствах у богатых. Однако хлебопашество долгое время запрещалось на Дону, „чтобы казак не обабился”, то есть не потерял возможность немедленно явиться по призыву на военную службу.

Казачество также сыграло важную роль в освоении Сибири. Еще в средние века новгородские „ушкуйники” совершали набеги „за Камень” (то есть за Уральский хребет), но систематическое освоение Сибири началось знаменитым походом

атамана Ермака (1581—1582), которому оказали поддержку боевыми и продовольственными припасами пермские промышленники Строгановы. Пионерами дальнейшего продвижения в Сибирь были отряды казаков и „ватаги” (товарищества) промышленников, объединенные общей целью — добычей огромного мехового богатства, находившегося в сибирских лесах. Испытывая голод, холод и всевозможные лишения и подчас преодолевая вооруженное сопротивление местного населения, эти землепроходцы „приискивали новые земли” и в течение 70-ти лет прошли 5 — 6 тысяч верст до Тихого океана. В 1649 г. несколько казацких „кочей” вышло из устья реки Анадырь в Северный Ледовитый океан; часть из них погибла, но казак Семен Дежнев „с товарищи” спасся, обогнув Чукотский полуостров через Берингов пролив. Группы казаков, шедшие на восток, достигли берегов Охотского моря, а шедшие на юго-восток пришли на Амур и построили там крепость Албазин. Однако „Даурская земля” (Маньчжурия) принадлежала Китаю, и казаки были вынуждены покинуть Амур.

Московское правительство спешило вступить во владение землями, занятыми сибирскими землепроходцами. В Сибирь посылались царские воеводы с отрядами служилых людей и на всем пространстве от Уральских гор до Охотского моря строились „остроги”, бывшие сначала опорными пунктами для дальнейшего продвижения казаков и промышленников, а затем ставшие регулярными центрами московской администрации.

Вслед за землепроходцами и администраторами в Сибирь приходили энергичные и предприимчивые люди — торговцы и ремесленники; шло в нее и православное духовенство, и, наконец, крестьяне. Частью это были государственные крестьяне, пере-

веденные правительством, но большинство составляли добровольцы, которых манил простор западносибирских полей и перспектива более вольной жизни: в Сибири не было ни помещиков, ни крепостного права. Через 100 лет после похода Ермака сибирские крестьяне производили уже достаточно хлеба, чтобы прокормить не только себя, но и городское население, и обязательные поставки „сибирского хлеба” из Европейской России были отменены.

В русской колонизации Сибири успешно переплеталась частная самодеятельность активных общественных групп с деятельностью военно-административного аппарата правительства.

3. ПЕРИОД ИМПЕРИИ: XVIII ВЕК

Царствование Петра Великого (1689—1725) было временем, неблагоприятным для развития общественной свободы и самостоятельности. Петр I официально провозгласил принцип неограниченности царской власти. Одна из статей „Устава воинского” (1716 г.) гласила: „Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять”.

Петр I, однако, вовсе не хотел предоставить государственным чиновникам право „самовластного” управления. Наоборот, он стремился создать правовое („регулярное”) государство, где администрация работала бы на точном основании изданных и опубликованных законов. Учреждая государственные „коллегии”, Петр I составлял для них подробные „регламенты”, а для контроля над за-

конностью действий администрации создавал специальные должности прокуроров и фискалов. Но, конечно, бюрократический контроль над бюрократией не мог создать в России подлинно правового государства (Петру I пришлось повесить обер-фискала Нестерова за служебные злоупотребления).

Велики были достижения Петра Великого в разных областях русской жизни — но высока была и цена, которую всем классам русского населения пришлось за эти достижения заплатить. Была, однако, одна группа населения — торговцы и промышленники, — которой Петр I пытался дать больше простора для общественного самоуправления. Во время своих путешествий по Европе он был пленен богатством и благоустройством европейских городов и задумал создать нечто подобное в России. В 1699 г. он издал указ об учреждении в Москве „бурмистерской палаты или ратуши” с выборными бурмистрами. Но эта палата стала скорее вспомогательным органом государственной администрации, чем представительным органом московского населения. Та же судьба постигла и учрежденные в других городах „земские избы”.

Создавая государственные „коллегии”, Петр I параллельно с ними учредил „главный магистрат” (нечто вроде министерства городов). По городам же должны были быть учреждены городовые магистраты или ратуши с выборными бурмистрами и ратманами. Городское население было разделено на две „гильдии”: ремесленники могли образовывать цехи, а наемные рабочие выбирать старост, которые „доносят магистрату о своих нуждах”.

Однако общего повышения самостоятельности и благосостояния городского населения не произошло. Этому, помимо бремени государственного тягла, препятствовали конкуренция государствен-

ных торговых монополий и привилегии отдельных лиц и компаний. Несмотря на государственный контроль и монополию, в царствование Петра Великого были достигнуты значительные успехи в области торговли и промышленности. Вскоре после его смерти (в 1727 г.) главный магистрат и торговые магистраты были упразднены и городское население было снова подчинено власти городских воевод и губернаторов.

*

В царствование имп. Елизаветы Петровны правительство в 1753 г. упразднило внутренние таможи. Эта важная мера сделала свободной торговлю на всем пространстве государства и освободила население от ежегодной поставки для бесплатной службы сотен „таможенных голов” и тысяч „таможенных целовальников”.

*

Екатерина II (1762—1796), вступив на российский престол, хотела осчастливить свое новое отечество новым кодексом законов, основанным на принципах разума и гуманности, — так, как их понимали философы эпохи просвещения. Для этого она решила созвать широкое собрание народных представителей, и долго и усердно трудилась над составлением „наказа” для этого собрания. В декабре 1766 г. был издан манифест о созыве „Комиссии для составления проекта нового Уложения” и положение о выборах в нее. Всего в ней должно было быть 565 членов, в том числе от городского населения 39% (по одному от каждого города), от дворянства 30% (по одному от каждого уезда),

от государственных крестьян 14%, и 28 человек от высших государственных учреждений (5%); далее были представители от однодворцев, от мелких служилых людей, от казаков и инородцев (всего 12%).

Депутаты должны были привезти с собой указы от избирателей, с изложением их нужд и пожеланий. „Большая комиссия” была торжественно открыта императрицей 30 июня 1767 г. и приступила к работе, но в 1768 г. ее заседания прекратились ввиду начавшейся войны с Турцией. Однако некоторые частные комиссии продолжали работу, и богатые материалы, заключающиеся в наказах депутатам и в прениях при их обсуждении были использованы правительством при издании законодательных актов 1775 и 1785 гг.

В 1775 г. были изданы „Учреждения для управления губерний”. Россия разделялась на 50 губерний (в конце царствования Екатерины), каждая губерния — на несколько уездов, соответственно численности населения. В губернских и уездных городах создаются три категории учреждений: административные, судебные и финансовые.

Судебные учреждения, губернские и уездные, были разными для трех основных сословий: дворянства, городского населения и казенных крестьян. Председатели судов назначались правительством, а „заседатели” или „ассессоры” избирались соответствующим сословием и утверждались губернатором („буде за ними нет явного порока”).

В 1785 г. были изданы „жалованные грамоты” дворянству и городам. Жалованная грамота дворянству подтверждала и расширяла дворянские права и привилегии. — Дворянин не может быть лишен своего звания иначе как по суду. — Он не может быть подвергнут телесному наказанию.

— Он свободен от платежа подушной подати, а его имение свободно от воинского постоя. Ему принадлежит, на правах полной собственности, не только наземная часть его имения, но и земельные недра. — Он может устраивать в своем имении мануфактуры и фабрики и торговать их изделиями. — Общество дворян губернии и уезда составляет особую корпорацию. Регулярные дворянские собрания собираются раз в три года. Они избирают уездных и губернских предводителей и депутатов и кандидатов к ним; избирают заседателей в судебные учреждения, а также начальника уездной полиции („капитана исправника“). — Дворянские собрания имеют право обращаться к правительству с представлениями о своих нуждах и пожеланиях. — О полной власти помещиков над их крестьянами жалованная грамота не говорила, но таковая власть сама собой подразумевалась (см. ниже).

Согласно „жалованной грамоте“ городам, городское население делилось на шесть разрядов, в зависимости от рода занятий и имущественного положения. „Гласные“ от этих разрядов должны были составлять „общую городскую думу“, которая избирала городского голову, бургомистров, „ратманов“ для городского суда и представителей для заведования делами городского хозяйства. Предусмотренные „жалованной грамотой“ органы городского самоуправления остались, в основном, на бумаге. Но важной, сыгравшей положительную роль мерой была отмена всех бесплатных служебных повинностей, которые в течение двух веков лежали тяжелым бременем на плечах городского населения России. В результате — торговля и промыслы в городах обнаруживают в конце царствования Екатерины признаки существенного оживления.

Крепостное крестьянство в XVIII в. Параллельно с ростом дворянских привилегий юридическое положение крепостного крестьянства значительно ухудшилось. Вводя в 1719 г. подушную подать, Петр Великий приказал помещикам писать в податные списки всех своих „подданных”, без различия крестьян и холопов, и это скоро привело к фактическому и юридическому равенству этих двух разрядов, бывших в Московском государстве двумя различными сословиями. В 1675 г. помещикам было предоставлено право ссылать своих непокорных крестьян в каторжные работы, а в 1767 г. крестьянам было запрещено жаловаться правительству на злоупотребления и насилия помещиков. Екатерина II в своем „наказе” прямо называет крестьян „рабами”. После освобождения дворян от обязательной службы в 1762 г. крестьяне, из сословия, обязанного своей работой содержать военно-служилое сословие, превратились в собственность частных лиц. Естественно, что крестьяне горько сознавали эту несправедливость и что значительная часть их отозвалась на призыв Пугачева свергнуть с престола дворянскую царицу, чтобы освободиться от рабства.

Введение подушной подати внесло большие изменения и в хозяйственную жизнь крестьянства. Подать эта налагалась — в равном размере — на каждую мужскую „душу”, от грудных младенцев до дряхлых стариков, что в жизни повело бы к несправедливым нелепостям. Поскольку помещики были сделаны ответственными за исправный взнос подушной подати, они должны были позаботиться о таком распределении крестьянских пахотных земель, которое сделало бы это возможным. Таким образом в средние десятилетия XVIII в. в помещичьих имениях складывается система распределе-

ния крестьянских пахотных земель „по тяглам”*. В „тягло” включается или одна рабочая пара (муж с женой), или две или три пары. Произвести земельную разверстку между „тяглами” не могли бы ни помещики, ни чиновники, и эта обязанность была возложена на крестьянский мир. Выбранные миром доморощенные землемеры, работая с удивительным искусством и усердием, производили разверстку земель „по едокам” или „по работникам”. Сначала все пахотные земли разделялись на несколько больших участков в зависимости от качества почвы и от расстояния от села и от реки. Потом каждый из этих участков разделялся на три поля: озимое, яровое и „пар”; наконец, в каждом поле каждому двору отмеривалось число полосок соответственно его населению. Удовлетворяя требованиям справедливости, эта система, однако, своею чересполосицей и принудительным трехпольным севооборотом тормозила всякий технический прогресс на крестьянских полях. С другой стороны, при общем усилении бесправия крепостного крестьянства, возросли полномочия и авторитет крестьянского мира, в руках которого теперь была сосредоточена власть над основным источником крестьянского существования.

Государственные („казенные”) крестьяне, жившие на обширном пространстве русского севера и северо-востока, составляли около половины крестьянского населения. В XVII и в начале XVIII в. они совершенно свободно распоряжались своими земельными участками, продавая, покупая и завещая их. В результате образовалось сильное земельное неравенство. Рядом с зажиточными крестьяна-

* См.: С. Г. П у ш к а р е в. Крестьянская поземельно-передельная община в России. 1976.

ми образовалась — и росла — группа малоземельных и безземельных.

Введенная Петром Великим в 1719 г. подушная подать для богатых была довольно легкой, но для бедных — непосильно тяжелой, и число недоимщиков росло. Во второй половине XVIII в. правительство начинает ограничивать право распоряжения крестьянскими землями, а в 80-х годах приходит к идее „земельного уравниения”, подобного тому, что имело место среди крестьянства крепостного. Первые попытки провести в жизнь эту идею вызывают недовольство и даже сопротивление зажиточных крестьян, указывающих, что они законно купили свои земли или приобрели их своим тяжелым трудом — расчисткой под пашню лесистых и болотистых мест. Но правительство, особенно в царствование Павла I, настойчиво стремится к земельному уравниению. Сенатский указ 1800 г. ясно связывает его необходимость с одинаковостью податного обложения крестьян. Казенным палатам, в ведении которых находились казенные крестьяне, поручается переселять часть крестьян из малоземельных селений в селения, „изобилующие землями”, и „соблюсти по крайней возможности такое правило, чтобы всякий из поселян казенных, будучи одинаковою повинностью обязан, одинакие ж со стороны земельного пространства и почвы имел выгоды”. Кроме того, в надел малоземельным крестьянам отводились пустующие казенные земли, пригодные для сельскохозяйственной обработки.

Земельное управление казенных крестьян оказалось делом чрезвычайно трудным, но правительство Александра I (1801—1825) продолжало эту политику, и к концу его царствования общинно-передельный строй землепользования восторжествовал на всем пространстве казенных земель. Переделы па-

хотных земель, соответственно с изменениями личного состава крестьянских дворов, должно было производить после каждой новой „ревизии” или переписи податного населения, происходившей обычно каждые 10 лет.

Помимо переделов пахотной земли, другой обязанностью крестьянского мира в XVIII в. была забота об исполнении рекрутской повинности. С учреждением регулярной армии правительство производило, по мере надобности, рекрутские наборы, назначая требуемое число рекрутов с каждой волости или вотчины. Число молодых людей призывного возраста значительно превышало число требуемых „новобранцев”, и крестьянский мир, через своих выборных, должен был отбирать последних, принимая во внимание их личную годность и семейное положение.

*

Земельное „уравнение” не привело к полному экономическому равенству в деревне. Русское крестьянство в XVIII и XIX вв. проявляло активную самостоятельность в самых разных отраслях народного хозяйства. В северных и северо-восточных губерниях крестьяне занимались разными лесными промыслами и вели оживленную торговлю своими товарами; занимались они, конечно, также и рыболовством и охотой. В центральных губерниях, там, где земли было мало или земля была плоха, крестьяне находили другие выходы. Получив разрешение помещика и обязавшись уплачивать ему определенный оброк, крестьяне уходили в „отхожие промыслы”, поступая на работу в мастерские или на фабрики, заводили в своих домах „кустарные промыслы” или составляли „артели”

лесорубов, плотников, кирпичников, каменщиков, рыболовов и др. — и работали сообща под руководством выборного артельного старосты. При наличии способностей и при удаче некоторые кустари становились собственниками мастерских, могли выкупиться из крепостного рабства и перейти в купеческое сословие.

4. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ В XIX ВЕКЕ

Самодержавно-бюрократическая и крепостническая монархия, созданная Петром Великим и Екатериной II, возбуждала недовольство среди крестьян, среди народившейся в конце XVIII века интеллигенции, а порой и в кругах правительства. Недоволен сложившимся положением дел был и император Александр I (воспитанник республиканца Лагарпа), испытывавший на себе гнет и капризы Павла I. По его поручению его близкий сотрудник и советник М. М. Сперанский составил в 1809 г. общий план государственного преобразования, согласно которому законодательная власть и распоряжение государственными и общественными финансами переходили в ведение четырех уровней избираемых населением „дум” — волостной, окружной, губернской и государственной. Судебная власть должна была принадлежать выборным судьям с участием присяжных заседателей. Император был бы главою исполнительной власти, назначая министров и губернаторов. Последние за нарушение принятых думами законов могли привлекаться к ответственности. План Сперанского был одобрен Александром I, но был „забыт” в бурях и опасностях наполеоновских войн.

Однако Александр I не вполне отказался от либеральных идей своей молодости. В 1815 г., когда к России были присоединены польские земли, образовавшие „Царство Польское” в составе 10 губерний, Александр I даровал Польше либеральную конституцию и выражал свое намерение распространить систему представительных учреждений на все подвластные ему земли. Польская конституция была отменена Николаем I после польского восстания 1830—1831 гг., но конституция, дарованная Александром I Финляндии в 1809 г., действовала в течение всего XIX века.

В 1820 г. Александр I поручил своему другу и сотруднику Н. Н. Новосильцеву составить проект конституции для России, названный „Государственной Уставной Грамотой”. Проект был составлен, отчасти, по образцу польской конституции и собрания народных представителей носили польское название „сеймов” вместо русского слова „дума”. Характерной чертой новосильцевской грамоты был ее федеративный характер. Российская империя делилась по ней на несколько больших областей или „наместничеств”, в каждой из которых образуется „сейм” (с учетом местных условий), а из представителей областных сеймов составляется общегосударственный сейм. События 1820—1821 гг. в России и за границей (волнения в лейб-гвардии Семеновском полку и военные революции в Испании и Италии) напугали имп. Александра I и он отказался от конституционных планов для России.

При Николае I никто из членов высшего правительства, конечно, не смел подумать о составлении каких-либо конституционных предположений. Но с воцарением Александра II, после освобождения крепостных крестьян в 1861 г. и учреждения органов местного самоуправления в лице губернских

и уездных земских собраний и управ, в либеральных кругах возникает и дебатруется вопрос об „увенчании здания”, то есть об учреждении над губернскими земскими собраниями общегосударственного органа народного представительства.

Либерально настроен в эти годы был и министр внутренних дел (1861—1868) граф П. А. Валуев, составлявший планы введения общегосударственного народного представительства. Однако Александр II отверг идею этой опасной, по его мнению, реформы.

В конце царствования Александра II снова возникают планы привлечения представителей „общественности” к участию в общегосударственной законодательной работе. В этой связи часто упоминается „конституция” Лорис-Меликова. В действительности его проект предвидел лишь совещание с участием уже избираемых представителей городского и земского самоуправления. Министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов, ведя борьбу с революционным терроризмом, искал сотрудничества правительства с „благомыслящими” элементами общества, и в этих целях он в феврале 1881 г. подал государю записку с проектом привлечения представителей земского и городского самоуправления в совещание, созванное для обсуждения законопроекта о реформе и расширении прав местного самоуправления. Царь одобрил эту идею и утром 1 марта 1881 г. (в день своей гибели) подписал соответствующий указ. Новый император Александр III должен был решить, проводить ли этот указ в исполнение. Его учителем в молодости и главным советником по воцарении был юрист К. П. Победоносцев, твердо и слепо уверенный в том, что для России единственно возможной формой политической жизни может быть самодержав-

но-бюрократическая монархия. Царь, по его настоянию, отклонил план Лорис-Меликова, три либеральных министра ушли в отставку, а царским манифестом 29 апреля (составленным Победоносцевым) самодержавная власть была признана неприкосновенной и неизменной.

Но даже и после этого среди высшей бюрократии оставались сторонники народного представительства, хотя бы в совещательной форме. Новый министр внутренних дел граф Н. П. Игнатьев, славянофил по убеждениям, был противником западного парламентаризма, но он ценил обычай Московской Руси, когда царь для решения важных и трудных вопросов созывал на совет представителей „всей земли” в лице земских соборов. Он составил и предложил план созыва Земского собора. Узнав об этом, Победоносцев указал царю на возможность гибели династии и государства, если бы такой Собор был созван. Игнатьев был немедленно уволен с поста и заменен графом Д. А. Толстым. Всеобъемлющее влияние Победоносцева во внутренней политике (хотя формально он был только обер-прокурором Св. Синода) сохранялось и в начале царствования Николая II.

5. СВОБОДА И РЕВОЛЮЦИЯ

В истории свободы в России роль революционного движения XIX—XX вв. была весьма двойственной. Само слово революция по-латински означает переворот и ничего более. Революции в истории бывали самые разные — некоторые расширяли объем свободы, а другие его, наоборот, резко сокращали. Революционное движение в России в течение XIX века было чрезвычайно разнообразным

по своим программным и политическим взглядам, по своей тактике и по характеру участвовавших в нем лиц. Даже в группах, носивших одинаковое название, существовали резкие разногласия в определении той политической свободы, за которую они боролись, и столь же различными были мотивы участников — от возвышенного идеализма до грубого властолюбия. Уже в первом революционном движении „декабристов” — состоявшем из обществ „Северного”, „Южного” и „Соединенных славян” — проявились эти различия и разногласия.

Составленный одним из вождей „Северного общества” *Никитой Муравьевым* (и одобренный большинством членов общества) проект российской конституции следовал образцу конституции Северо-Американских Соединенных Штатов и некоторые статьи представляют собой просто буквальный перевод соответствующих статей американской конституции. Правда, в проекте Муравьева сохраняется пост Императора Всероссийского, но его права и функции связаны такими же определениями и ограничениями, как у американского президента.

Совершенно иными были планы вождя „Южного общества” полк. *П. И. Пестеля*, изложенные им в политическом трактате „Русская Правда”. Полковник-якобинец отрицал идеи федерации, которые пользовались поддержкой в „Северном обществе” и „Обществе соединенных славян”. Его идеалом было централизованное государство, единое не только политически и административно, но и культурно: на всем его пространстве должен был господствовать „русский язык”. Не надеясь превратить евреев в „россиян”, Пестель проектировал их выселить в Малую Азию, где они могли бы создать свое собственное государство. Хотя Россия,

по Пестелю, должна была стать демократической республикой, всякие частные общества в ней должны были быть запрещены, а радикальная земельная реформа — с обобществлением половины земли — должна была быть проведена временным правительством с диктаторскими полномочиями, а не собранием народных представителей.

Бросая беглый взгляд на революционные движения во второй половине XIX в., остановимся сначала на *анархистах*. По иронии судьбы, апостолами русского анархизма были три аристократа: родовитый дворянин Михаил Бакунин, граф Лев Толстой и князь Петр Кропоткин.

Бакунин был горячим сторонником борьбы за разрушение государственного и общественного строя повсюду в Европе. Его преданным другом и поклонником был в 60-х и 70-х гг. Сергей Нечаев, имевший десятки, если не сотни последователей. В своем „Катехизисе революционера” Нечаев утверждал, что основной задачей революционного движения должно быть всеобщее и беспощадное разрушение всеми средствами политического и социального строя и этических норм. В душе революционера должна господствовать только „холодная страсть разрушения”. „Этому разрушению мы отдаем все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание”, — писал Нечаев.

Толстой, наоборот, ставил в центр своей морально-политической философии отрицание всякого насилия, включая „сопротивление злу насилием”; относясь отрицательно к государству вообще, он отрицал и право наказания преступников и содержание вооруженных сил.

Кропоткин, не отказываясь от революционной борьбы против угнетения, вместе с тем убедитель-

но опровергал Марксову теорию классовой борьбы и обстоятельно доказывал, что главной и решающей силой в развитии человеческих обществ были сотрудничество и взаимопомощь.

Основоположником русского *народничества* — с его идеализацией крестьянского мира и отталкиванием от западной „буржуазной” культуры — был революционер-романтик и умеренный социалист Александр Герцен, издававший с 1857 г. в Лондоне журнал „Колокол”, широко проникавший в Россию. Однако уже в начале 60-х годов Герцена далеко „опередили” русские течения, появившиеся внутри страны.

Особой популярностью в кругах полуобразованной „разночинной” интеллигенции пользовался журнал „Русское Слово” Писарева. Он не призывал к политической революции, но язвительно высмеивал все стороны современной русской жизни, проповедуя „здоровый материализм” и освобождение личности от всяких религиозных, бытовых и семейных пут. Сотни его последователей — „нигилистов” — отправились в эмиграцию. Герцен встретившись с ними в Швейцарии и Ницце, был поражен и удручен внешней грубостью, невежеством и душевной пустотой этих, как он их назвал, „Ноздревых и Собакевичей нигилизма”.

Добролюбов и Чернышевский на страницах „Современника” занимаются не только „разрушением эстетики”, отрицая, подобно Писареву, самостоятельное значение художественных ценностей, но и развивают идеи революционного народничества.

Компромиссная крестьянская реформа 1861 г. не способствовала успокоению общественного брожения: дворяне полагали, что правительство их „ограбило”, крестьяне считали свои наделы не-

достаточными. Огарев опубликовал в „Колоколе” несколько статей о реформе под общим заглавием „Народ царем обманут”, а прокламации, изданные нелегально в 1861—1862 гг., призывали народ к „социальной и демократической революции”, которая началась бы „штурмом Зимнего дворца с целью истребить живущих там”. За составление одной из революционных прокламаций „К барским крестьянам” был осужден Чернышевский.

Крупным деятелем революционного движения 70-х годов был Петр Ткачев („русский якобинец”), который стал впоследствии, наряду с Марксом, духовным отцом Ленина. Он пропагандировал идею захвата власти тесно сплоченной и дисциплинированной группой профессиональных революционеров с целью построения социалистического государства.

Иными были идеи крупного и плодовитого писателя-народника П. И. Лаврова, бывшего полковника и профессора артиллерийской академии, автора „Исторических писем”, издававшего за границей журнал „Вперед”. Полковник царской армии был гораздо демократичнее социалистов-разночинцев. Цель социалистической народной партии он видел в том, чтобы широкой, систематической и терпеливой пропагандой убедить народ в справедливости и спасительности своих идеалов, и тогда сам народ, а не партия или кучка революционеров, будет строить социалистическое общество.

В первой половине 70-х годов возникает широкое движение „хождения в народ”. Многие молодые люди оставляют свои дома и уходят жить в деревню: „бакунисты” прямо призывают крестьян к бунту, „лавристы” пропагандируют свои социалистические идеалы. Они живут „в народе” как учителя и учительницы, фельдшеры и акушерки, торгов-

цы и ремесленники. Однако их пропаганда не встречает сочувствия, и в результате — часть их ушла из деревни „не солоно хлебавши”, часть была арестована местной полицией. За революционную пропаганду в деревне, по официальным данным, было привлечено к ответственности 770 мужчин и 158 женщин в 37 губерниях европейской России.

Образовавшуюся в 1876 г. партию „Земля и Воля” в 1878 г. сменила партия, называвшаяся „Народная Воля”, хотя неудача „хождения в народ” показала, что она не имела права на это название. Не имея опоры в сколько-нибудь широком движении, эта партия решила сосредоточить силы на дезорганизации и разрушении правительственного аппарата революционным террором. Главной целью она поставила убийство Александра II, и — после нескольких неудавшихся попыток — 1 марта 1881 г. император был убит бомбой одного из „метальщиков”, посланных Софьей Перовской.

Но дорого обошелся этот „успех” русскому народу и государству. Фактически верховная власть над Россией на 24 года перешла в руки главного советника и наставника последних двух императоров, К. П. Победоносцева, люто ненавидевшего политическую свободу и народное представительство и считавшего либеральные реформы Александра II „преступной ошибкой”. В конце его правления крестьянская масса обнищала и озлобилась, что нашло свое выражение в 1905—1906 гг. в разгромах нескольких тысяч дворянских усадеб; а военная мощь государства упала до небывало низкого уровня, что и привело к поражению в японской войне. Революция 1905—1906 гг. обнаружила, что все классы русского народа и все нерусские народы Российской империи были недовольны „победоносцевским” правительством и требовали

конституционных реформ и политической свободы.

Наиболее активными партиями оппозиционно-революционного движения этих лет были партии социал-демократов и социал-революционеров. Но под этими названиями мы находим крайнее разнообразие характеров действующих лиц и их стремлений. В партию социал-демократов (РСДРП), будто бы единую (большевики формально обособились лишь в 1912 г.), входили и тоталитарист-фанатик Ленин, и искренний демократ и либерал Потресов.

Под знаменем партии социалистов-революционеров собралась тоже очень разная публика. Вождь партии, самодовольный и самоуверенный фантаст Чернов, строил совершенно нелепый план „всероссийской земельной коммуны“, то есть равномерного распределения земли между трудящимися на пространстве от Минска до Владивостока. „Бабушка русской революции“ Брешко-Брешковская искренне и сердечно любила русское крестьянство, от души желала ему свободы и счастья, и готова была пожертвовать собой для этих целей. И наконец, глава эсеровской террористической „боевой организации“ инженер Азеф составлял заговоры с целью убийства членов царской семьи или высших правительственных чиновников. Часть этих заговоров он приводил в исполнение, а о некоторых предупреждал департамент политической полиции — таким образом не только завоевывая доверие обеих сторон, но и получая приличное денежное вознаграждение. Таким же секретным сотрудником политической полиции был друг и сотрудник Ленина Малиновский, председатель большевистской фракции в Государственной Думе.

В этом коротком обзоре невозможно дать систематическую оценку революционных движений. Но

нужно сказать, что они представляли собой чрезвычайно пеструю смесь добра и зла, правды и лжи, созидания и разрушения, народолюбия и властолюбия, демократии и автократии.

6. ТЯГА КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН К СВОБОДЕ

Крепостное крестьянство, составлявшее в середине XIX века почти половину всего крестьянства — и 40% всего населения России, — никак нельзя обвинить в том, что оно привыкло к своей неволе и примирилось с ней. Оно прекрасно сознавало моральную и юридическую несправедливость власти помещиков после того, как дворянство в 1762 г. было освобождено от обязательной службы государству.

При каждой перемене на престоле (1797, 1801, 1825) в помещичьих имениях происходили волнения: крестьяне ожидали от нового императора „милостивого манифеста”. Но вместо „милостивых” выходили сердитые манифесты, которые повелевали крестьянам по-прежнему беспрекословно повиноваться помещикам, и в противном случае угрожали суровыми наказаниями.

После наполеоновских войн крепостные крестьяне, воевавшие в качестве ратников ополчения или партизан, надеялись, что царская служба даст им право освободиться от власти помещиков и перейти под власть царя, то есть в сословие государственных крестьян. Но их надежды не оправдались и они снова попали в крепостную неволю.

То же произошло с ратниками ополчения в Крымскую войну. В некоторых местах вернувшиеся ратники прямо отказывались служить своим помещикам, но были к этому принуждены и наказаны „по всей строгости законов”.

О мыслях и настроениях крепостного крестьянства в первой половине XIX века находятся интересные сведения в ежегодных отчетах начальника политической полиции (3-го отделения имп. канцелярии) графа Бенкендорфа. В отчете императору за 1827 г. сказано о крепостных крестьянах: „Среди этого класса встречается гораздо более рассуждающих голов, чем это можно было предположить с первого взгляда. Всякий крепостной, которому удалось скопить достаточную сумму денег, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу... Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний. Они ждут своего освобождения, как евреи своего мессию” („Крестьянское движение 1827—1869”, вып. 1, 1931, с. 9).

В отчете за 1834 г. сказано: „Год от году распространяется и усиливается между помещичьими крестьянами мысль о вольности. В 1834-м году было много примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи происходили не от притеснений и не от жестокого обращения, но единственно от мысли иметь право на свободу” (там же, с. 15).

В отчете за 1839 г. говорится: „При каждом новом царствовании, при каждом важном событии при Дворе или в делах государства издревле и обыкновенно возбуждается мысль о свободе крестьян, вследствие чего происходят и в прошедшем году происходили в разных местах беспорядки, ропот, неудовольствия. Так и теперь по поводу бракосочетания великой княжны Марии Николаевны в народе разнеслась весть, что крестьяне будут освобождены. Толки всегда одни и те же: царь хочет, да бояре противятся. Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим. В народе толкуют беспрестанно, что все чужезычники в России:

чухны, мордва, чувашы, самоеды, татары и т. п. свободны, а одни русские православные — невольники, вопреки священному писанию; что всему злу причиной господа, то есть дворяне, что господа обманывают царя и клеветают перед ним на православный народ и т. п. Вообще весь дух направлен к одной цели — к освобождению. ...Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же... 3-е отделение, от имени здравомыслящих людей, рекомендует начать постепенную реформу крепостного состояния путем законодательного определения размеров барщины и оброка в разных областях государства” („Крестьянское движение в 1826—49 гг.”, № 115, сс. 343—344).

В царствование имп. Николая I наиболее обиженные и озлобленные крестьяне не раз прибегали к личному террору против своих господ. В официальных документах сообщается о числе ежегодно происходивших случаев таких нападений, при которых несколько человек — или даже несколько десятков — бывало убито или ранено.

Во время Крымской войны (1854—1856) среди крепостных крестьян проявилось массовое движение за вступление в армию. Тысячные толпы самовольно покидали свои деревни и являлись в города с просьбой зачислить их „на царскую службу”.

По вступлении на престол императора Александра II крепостное крестьянство с трепетной надеждой, но при полном сохранении внешнего порядка, ожидало „милостивого манифеста” о свободе. Последовавший через шесть лет Манифест 19 февраля 1861 г., однако, всеобщей радости не принес, поскольку, для более плавного перехода к новому хозяйственному строю, фактическое упразднение крепостных порядков было отложено

еще на два года. Между тем, крестьяне ожидали немедленной и полной „воли”. Пошли слухи, что царь дал полную волю, а „господа” „подделали” манифест. В некоторых имениях возникли волнения и крестьяне миром отказывались выходить на барщину. По понятиям жандармских офицеров, воспитанников школы Николая I, всякое неповиновение властям было „бунтом”, а по понятиям историков-марксистов это были „восстания” в общем процессе „классовой борьбы”. На самом деле это были просто экономические забастовки, оправданные тем, что с отменой крепостного права отпадает и бесплатная барщинная работа.

Перед опубликованием манифеста 19 февраля в каждую губернию был послан офицер высокого чина (генерал или полковник), который должен был поддерживать порядок в переходные годы. В случае крестьянского „бунта” он, по вызову местной администрации, являлся с отрядом солдат для „усмирения”. Там, где администраторы и офицеры были благоразумны, они ликвидировали „бунт” переговорами с представителями крестьян. Держиморды наказывали зачинщиков розгами, иногда прибегали даже к стрельбе. Убитых, во всяком случае, почти не было, раненых были единицы.

В 1863 г. крепостные крестьяне были окончательно освобождены от власти помещиков, но свобода, полученная ими, не была полной ни юридически, ни экономически. Каждый крестьянин был „приписан” к своему мирскому обществу; для долговременных отлучек он должен был получить паспорт из волостного правления, а если хотел вовсе уехать из деревни, то должен был получить увольнительный приговор от мира и терял свой земельный надел. Только указ 5 октября 1906 г. о равноправии крестьянства с другими сословиями предо-

ставил крестьянам право свободного выбора местожительства и профессии, без потери права на земельный надел.

Земли, отведенные в надел крестьянам при освобождении, не были *собственностью* ни отдельных крестьян, ни крестьянского мира, а находились как бы в залоге у государства. При освобождении крестьян правительство уплатило помещикам значительную сумму „выкупа”, и теперь крестьяне должны были ежегодными взносами в течение 49 лет уплачивать в казну эти „выкупные платежи”. Они были отменены манифестом 3 ноября 1906 г., а указом 9 ноября 1906 г. отдельным крестьянам было предоставлено право требовать закрепления их участков наделной земли в личную собственность.

7. КРЕСТЬЯНСКИЙ МИР В XIX И XX ВЕКЕ

В разделе, посвященном XVIII веку, говорилось о том, как вследствие установленной Петром Великим налоговой системы возросла роль и расширились функции существовавшего издревле крестьянского мира. В результате правительство нашло нужным регулировать деятельность органов крестьянского самоуправления. В 1797 г. был издан закон о разделении казенных селений на волости и о порядке их внутреннего управления.

В каждой волости должно было быть не свыше 3.000 душ мужского пола. Волостное правление состоит из избираемых на два года „волостного головы” и волостного писаря. Каждое селение выбирает на тот же срок „выборного” или старосту, а каждые 10 дворов выбирают по одному „десятскому” (главным образом для поддержания поли-

цейского порядка). Состав и компетенция волостных сходов были также определены законом.

В 1837 г. было учреждено „Министерство государственных имуществ“, в ведение которого были переданы государственные крестьяне, находившиеся до того в ведении Министерства финансов. Министром был назначен генерал П. Д. Киселев. Он был гуманный человек и искренний доброжелатель крестьянства, но, как генерал и министр Николая I, тяготел к бюрократическому порядку и дисциплине.

30 апреля 1838 г. было издано обширное „Учреждение об управлении государственными имуществами“. По губерниям были созданы „палаты государственных имуществ“. Группы из двух-трех уездов составляли *округ*, во главе которого стоял окружной начальник, который должен был заботиться об охране прав и интересов крестьян и наблюдать за законностью действий крестьянского самоуправления.

Во главе *волости* стоял „волостной голова“, избираемый на три года волостным крестьянским сходом, а с ним — волостной писарь. В волостной суд сход избирал двух „добросовестных“, заседавших под председательством головы. Голова носил форменный кафтан и получал жалование. *Сельский* сход в многолюдных селах состоял из выбранных от каждых 10 дворов. Особое „учреждение“ для управления государственными крестьянами было отменено в 1866 г., и на государственных крестьян было распространено действие „общего положения“ о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

Многие части киселевской реформы не были по душе крестьянам. На сельском сходе должны были бы присутствовать *все домохозяева*, а форменный

кафтан, по их мнению, отделял выборного „голову” от мира и перемещал его в ряды „начальства”.

17 апреля 1842 г. крестьяне села Кунарского Пермской губернии представили земскому исправнику мирской приговор, в котором писали: „...общество наше в сумнении, что теперь начальники наши имеют на себе жалованные от высшего начальства... кафтаны и на шеях их золотые позументы и на то получают с нас большое жалованье, а общество наше желает служить для Бога и царя без кафтанов и жалованья, а просто на равности за общественную службу” („Крестьянское движение в 1826—49 гг.”, № 156, с. 459).

25 апреля 1842 г. пермский вице-губернатор сообщает министру внутренних дел, что крестьяне Закамьшловской и Троицкой волостей „позволили себе разные своевольства и буйства”, не желают принять новое управление и требуют, „чтобы волостные начальники управляли ими на прежнем основании, почетных кафтанов не носили и служили без жалованья” (там же, № 156, с. 471).

13 декабря 1843 г. олонецкий губернатор докладывает министру внутренних дел об отказе крестьян Воробьевского сельского общества от проведения волостных выборов по новым правилам, согласно которым сельские и волостные начальники выбирались не непосредственно, а через выборщиков, по два от 10 дворов. Крестьяне заявили, что „выборных назначать не желают, а готовы избрать должностных лиц на прежнем основании, всем обществом”. При этом шестеро коневских крестьян закричали: „Мы без воли целого общества ничего не сделаем и будем слушать одного государя императора, но должностным лицам жалованья назначать не будем” (там же, с. 474).

Рапортом 14 апреля 1843 г. шадринский земский

исправник доносит пермскому губернатору „о действиях вооруженных крестьян с. Батуринского Шадринского уезда против исправника, временного отделения земского суда, инвалидной команды и казаков (очевидно, немногочисленных), явившихся в село Батуринское для понуждения крестьян к принятию нового порядка управления”. В течение пяти дней прибывшие выдерживали в церкви осаду вооруженных толп крестьян. „Струями лилась на нас скверная брань и угрозы... Главное требование состояло в уничтожении управления государственных имуществ и восстановлении прежнего порядка, упразднении шитых кафтанов и жалованья сельскому начальству, а в особенности уничтожении сельских управлений по новому положению” (там же, № 161, сс. 487—488). Даже из этих немногих приведенных документов можно видеть, что государственные крестьяне восточных и северных областей охотно готовы были признавать над собою только две власти: власть „мира” и власть „самого государя императора”.

Непоколебимая преданность крестьян воле и приговору мира выразительно описана флигель-адъютантом Сумароковым-Эльстоном, командированным в село Сурки Нижегородской губернии для подавления крестьянского волнения. В письме шефу жандармов Долгорукову (от 8 января 1856 г.) он говорит об упорном отказе крестьян признать своим владельцем генерал-майора Пашкова. Вместе с Сумароковым в Сурки явилась воинская команда и четыре воза с розгами, однако крестьяне отвергли требование выдать подписку о покорности помещику. Среди крестьян были ратники ополчения (только что окончилась Крымская война), но и они „мне ответили, что не могут дать подписки, ибо миром было положено отнюдь не повиноваться и что

они от мира ни на шаг” („Крестьянское движение 1850—56”, № 216, с. 537—539).

Приведем теперь шесть кратких и однообразных, но характерных цитат из ответов, данных крестьянами на допросе 10—11 сентября 1857 г. по поводу волнений в имении помещика Эссена, в Рославльском уезде Смоленской губернии.

Михей Ильин: „...крестьян идти с жалобой не подговаривал, а сделано это с общего мирского согласия, а от миру я никогда не отставал”. По вычитании сего допроса Михей Ильин добавил, что и на будущее время он от мира не отстанет, то есть куда весь мир пойдет, туда и он за миром.

Тимофей Дементьев: „Сам я против помещика не пойду, но если мир пойдет, то я от миру не отстану, потому что мир больше помещика”.

Матвей Марков: „...ослушания против вотчинной конторы и управляющего я не оказывал, но если мир пойдет против помещика и начальства, то и я пойду и от мира не отстану”.

Леон Никитин: „Грубостей и ослушания я не делал, но если мир пойдет против помещика и начальства, то я от миру не отстану”.

Семен Афанасьев: „...против помещика я всегда пойду с миром, хотя бы меня за это и на виселицу повесили”.

Спиридон Егоров: „По тяжести господских работ в нынешнее лето я и все наши крестьяне помещиком недовольны, и если так же будет и дальше, то я вместе с миром пойдем хотя бы к самому царскому величеству, и никогда ни в чем от миру не отстану” („Крестьянское движение в 1857—61 гг.”, № 17, сс. 82—85).

Приведя цитаты из показаний 17 допрошенных крестьян, редакция издания дополняет их примечанием: „Опущены показания остальных 50 крестьян,

так как они ничем не дополняют показания предыдущих. Следует только отметить, что и эти 50 крестьян в конце своих показаний заявили, что если мир пойдет против помещика и начальства, то и они от мира не отстанут”.

„Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”, от 19 февраля 1861 года предоставило сельскому сходу (то есть крестьянскому миру) весьма широкие полномочия: выборы сельского старосты и других сельских должностных лиц; увольнение из общества и принятие новых членов; удаление из общества вредных и порочных членов (что влекло для них ссылку в Сибирь на поселение); разрешение семейных разделов; распоряжение мирской полевой землей и общинными мирскими угодьями; раскладка податей и повинностей между членами общества и меры по взысканию недоимок; дела по отбыванию рекрутской повинности; назначение сборов на мирские расходы; выдача ссуд и пособий нуждающимся; назначение опекунов к малолетним; подача жалоб и прошений по делам общества и ходатайства об общественных нуждах.

Сельский сход и избираемый им на три года сельский староста были основным органом крестьянского самоуправления. Несколько сел составляли волость. Волостной сход составлялся из выборных — по одному от каждых 10 дворов. Он избирал волостное правление, состоявшее из волостного старшины, его помощника и волостного писаря, а также волостной суд, в котором было от 4 до 12 судей, из коих в судебном заседании должно было участвовать не менее трех.

Избранные сходом должностные лица должны были утверждаться сначала так называемыми „мировыми посредниками”, назначаемыми губернато-

ром; в 1874 г. эта должность была упразднена и крестьяне перешли в ведение уездных и губернских „по крестьянским делам присутствий“, которые были органом административной власти, но с участием выборных представителей крестьянского самоуправления.

Император Александр III и его главный советник и вдохновитель Победоносцев решили создать „твердую и близкую к народу правительственную власть“ — в виде земских начальников. Так, с 1889 г. деятельность и постановления мира были поставлены под надзор „земского“ (как его называли крестьяне), но интенсивность этого контроля фактически зависела от личного характера и настроений „земского“. Некоторые вмешивались в дела мира довольно часто, другие оставляли мир в покое.

Власть земских начальников над миром была значительно ограничена в думскую эпоху. По указу 5 октября 1906 г. об уравнивании крестьян с другими сословиями, земский начальник мог приостанавливать приведение в действие мирского приговора только в том случае, если приговор явно противоречил существующим законам.

А по закону, принятому Думой в 1912 г., судебная власть земских начальников передавалась мировым судьям, избираемым уездным земским собранием (как было установлено судебными уставами имп. Александра II в 1864 г.). Волостные суды были также значительно преобразованы. Эта важная реформа была введена в 1913 г. в 10 губерниях, но война помешала ее дальнейшему распространению.

О деятельности и характере крестьянского мира существует богатая литература, начиная от сочинения барона Гакстгаузена, посетившего и

описавшего Россию в 30-х и 40-х гг. XIX века*.

В середине и во второй половине XIX века о крестьянской общине много писали славянофилы и народники. Первые преклонялись перед общиной как перед исконным и самобытным созданием „русского народного духа”, вторые надеялись, что община послужит ячейкой будущего социалистического строя.

Приведу несколько характерных высказываний Константина Аксакова. Он писал: „Мир по существу своему есть самозаконное, верховное явление народа, вполне удовлетворяющее всем требованиям законности, общественного суда, общественной правды, одним словом общественной воли”. „Община представляет нравственный хор, и как в хоре не теряется голос, но, подчиняясь общему строю, слышится в согласии всех голосов, так и в общине не теряется личность, но, отказываясь от своей исключительности для согласия общего, она находит себя в согласии равномерно самоотверженных личностей” (Сочинения т. 1, с. 292).

В конце XIX века восторженным поклонником общины был историк и публицист Виктор Пругавин. Для него община имеет „универсальное значение в экономической, правовой и духовной жизни русского народа”, а конечной целью развития общинного строя должно быть „установление национального производства на началах коллективизма” (Русская земельная община в трудах ее местных исследователей, сс. 2, 293). Весьма известным — в

* H a x t h a u s e n, Baron August von. Studien ueber die inneren Zustaende, das Volksleben und insbesondere die laendlichen Einrichtungen Russlands. 3 B. Hannover, 1847—52. Английский перевод: The Russian Empire. Its People, Institutions and Resources. Trans. by Robert Farie. 2 vols. London, 1856.

свое время — был также писавший в начале нашего века „неонародник” К. Р. Качаровский, восторженный поклонник крестьянского мира и земельной общины.

Объективности ради, следует четко различать понятия поземельно-передельной общины, введенной в XVIII веке по инициативе помещиков и государства под влиянием петровской подушной подати, и крестьянского мира, как издревле существовавшей системы крестьянского самоуправления и общежития. Первая была сильнейшим тормозом хозяйственного прогресса и главной причиной крестьянской бедности. За вторым невозможно отрицать элементы демократичности, солидарности, социальности, взаимопомощи и преданности общему делу.

И наконец — свидетельства двух компетентных наблюдателей со стороны. Первый из них — английский писатель Уоллес, проживший в России шесть лет в 70-х годах XIX века и в течение следующих 35 лет многократно посещавший Россию, изучая, в частности, жизнь деревни*.

„Распределение наделных земель (между отдельными членами общества) зависит от воли данного общества. В этом отношении общество пользуется полной автономией и ни один крестьянин не подумает оспаривать решения общества. Высшие власти не только воздерживаются от вмешательства в дело распределения общественных полей, но пребывают в полном неведении о том, какую систему общество применяет. Несмотря на систематические и постоянные усилия централизованной бюрократии ре-

* Donald M. Wallace. Russia. 3-d edition. London, New York, 1912. Глава 8-я, „Мир или сельское общество”, посвящена специально нашему предмету.

гулировать до мелочей все области жизни государства, сельские общества, охватывающие около 5/6 населения, остаются, во многих отношениях, вне ее влияния и даже вне поля ее зрения... Россия есть страна парадоксов... В этой стране императорского самодержавия и централизованной бюрократии ... сельские общества представляют собою особую разновидность конституционного управления вполне демократического типа" (с. 128—129).

„Мир есть живой и жизненный институт с чисто демократической организацией" (с. 130).

„Компетенция мира весьма широка: сельский сход обсуждает все вопросы сельской жизни, но с 1889 г. деятельность мира подчинена надзору земских начальников" (с. 130—133).

„Сельский сход состоит из крестьян-домохозяев; в северных губерниях, где значительная часть мужского населения отсутствует, сельский сход обычно включает довольно многих женщин" (с. 132) (то есть жен домохозяев, ушедших на промыслы и заработки разного рода).

„Нет в мире более добродушного и миролюбивого класса населения, чем русские крестьяне; если не пьяны, они никогда не дерутся" (с. 131).

„Крестьяне привыкли работать сообща и заботиться об общественном благосостоянии, проявляя безоговорочное послушание воле мира. Я знаю много случаев, когда крестьяне оказывали неповиновение полиции, губернатору и даже центральному правительству, но я никогда не слышал о случаях неповиновения миру кого-либо из его членов" (с. 139).

„Сельский сход есть представительное учреждение в полном смысле этого слова, он верно отражает хорошие и плохие свойства населения. Его решения („приговоры") обычно отличаются ясным

практическим здравым смыслом, но иногда сход подпадает под вредные влияния, главным образом алкогольного характера” (с. 133).

Другой свидетель — А. А. Риттих, прекрасный знаток деревенской жизни, автор нескольких книг по крестьянскому вопросу, видный чиновник Министерства земледелия. Он был сторонником столыпинского аграрного законодательства, то есть частной собственности на землю, но вот как он описывает социальную жизнь мира (в своей книге „Зависимость крестьян от общины и мира”, 1903): „...в массе общин несомненно развиты очень высокие нравственные начала взаимопомощи: маломощным, женским семьям дают землю, освобождая от повинностей, которые мир принимает на себя, снимают подати с погорельцев или пострадавших от падежа скота. Отмечены случаи организованной помощи больным и маломощным; мир наряжает (подводы) вывозить навоз на их полосы, помогает при уборке хлеба. Часто это делается совершенно добровольно „для ради Христа”: косцы или жницы, оканчивая свои полосы, идут помогать тем, кто задержался в работе по „маломощности”... Наконец, на почве общинных интересов возникает иногда кооперативный труд, в особенности по уборке сена... Распространено общинно-артельное устройство прудов, осушение заболотей, постройка изгородей, общих гумен, овинов, мельниц, покупка машин, племенного скота и т. д.” (сс. 50—51).

Напомню, вдобавок, что там, где земледелие не давало достаточного пропитания, крестьяне организовывали *артели* (с выборными старостами во главе) для „отхожих промыслов” — плотников, каменщиков, лесорубов, пильщиков, землекопов и др. А сибирские крестьяне (с помощью местных интеллигентов) образовали в 1908 г. „Союз сибирских

маслодельных артелей”, который к 1914 г. объединил 864 артели, и в 1913 г. экспортировал за границу 5 млн. пудов масла на сумму 71 млн. руб. Напомню и о развитии кустарной промышленности, в которой тысячи крестьян-кустарей проявили свой художественный вкус и ремесленное мастерство.

В заключение очерка о крестьянском мире напомним слова Питирима Сорокина о том, сколь многие иностранные авторы так и не заметили, „что под железной крышей самодержавной монархии жило сто тысяч крестьянских республик”.

8. ЗЕМСКОЕ И ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Земство. До эпохи великих реформ мало кто серьезно заботился об удовлетворении бытовых и культурных нужд низших слоев населения, особенно сельских. В селениях казенных крестьян некоторое начало народному образованию и сельской медицине положил министр государственных имуществ П. Д. Киселев, но в помещичьих имениях школа или больница оставались величайшей редкостью.

После крестьянской реформы необходимо было создание особых учреждений, которые взяли бы на себя заботу о поднятии бытового и культурного уровня населения, и 1 января 1864 г. было издано „Положение о губернских и уездных земских учреждениях”. Дела, подлежавшие ведению земских учреждений, были, по закону, следующие: 1) заведение земскими имуществами и капиталами; 2) устройство и содержание местных путей сообщения; 3) меры обеспечения народного продовольствия; 4) благотворительность и „попечение о построении церквей”; 5) страхование имуществ;

6) „попечение о развитии местной торговли и промышленности”; 7) участие, „преимущественно в хозяйственном отношении”, в попечении о народном образовании и народном здравии; 8) участие в предупреждении эпизоотий и охране растений от вредителей; 9) исполнение местных потребностей воинского и гражданского управления (например, подводная и постоянная повинность) и участие в доставке почты по деревням; 10) раскладка, взимание и расходование земских денежных сборов; 11) представление правительству сведений и ходатайств о местных пользах и нуждах; 12) выборы исполнительных органов земств.

По уездам образовались „уездные земские собрания”, состоявшие из „уездных земских гласных”, которые избирались тремя разрядами избирателей: 1) землевладельцами, 2) городскими обществами, 3) крестьянскими обществами. В 34 губерниях, где было введено земство, общее число уездных земских гласных было установлено в 13.000, из которых 6.200 избирались землевладельцами, 5.200 крестьянскими волостными сходами, и 1.600 городскими обществами.

Председательствовал в уездном земском собрании уездный предводитель дворянства. Собрание избирало (на трехлетний срок) свой исполнительный орган — уездную земскую управу, а также гласных в вышестоящее губернское земское собрание. Последнее (в котором председательствовал губернский предводитель дворянства) избирало губернскую земскую управу. Председатель уездной земской управы утверждался губернатором, губернской — министром внутренних дел. Право голоса в выборах земских гласных от землевладельцев не было личным, а зависело от земельного ценза, безотносительно к месту жительства.

„Земские учреждения, в кругу вверенных им дел, действуют самостоятельно”, гласил закон. Однако губернатор „имеет право остановить исполнение всякого постановления земских учреждений, противного законам или общим государственным пользам”. В этом случае земские учреждения имеют право обжаловать распоряжение губернатора в Сенате, которому и принадлежит окончательное решение.

В земских собраниях встретились за одним столом вчерашние господа и вчерашние рабы, и встреча эта носила, на удивление, спокойный и деловой характер, лишенный „противоречий классовых интересов”. Земская работа шла или на общую пользу, или на пользу крестьянства. Помещики своих детей в сельских школах не обучали, а ветеринар был нужен всем одинаково, так же, как и исправные дороги и мосты. Приведем свидетельства компетентных современников с двух разных концов России.

Славянофил А. И. Кошелев пишет об открытии первого земского собрания в г. Сапожке Рязанской губернии летом 1865 г.: „Это первое собрание поразило меня во многих отношениях: гласные из крестьян, наши вчерашние крепостные люди, сели между нами так просто и бесцеремонно, как будто век так сидели; они слушали нас с большим вниманием, спрашивали объяснение насчет того, что не понимали, и соглашались с нами со смыслом...” В сентябре 1867 г. „собрание усердно работало восемь дней, и замечательно было единодушие, в нем господствовавшее между личными землевладельцами и крестьянами” (А. И. Кошелев. Записки. Берлин, 1884, сс. 167, 189).

Англичанин Уоллес, о котором речь шла выше, пишет о земском собрании в Новгородской губернии: „Меня особенно удивило в этом собрании, что

оно, будучи составлено частью из дворян, частью из крестьян (последние были в большинстве), не проявляло следов антагонизма между этими классами. Господа и их бывшие крепостные, освобожденные только 10 лет тому назад, в этот момент, очевидно, встречались на основе равенства. Обсуждение вопросов вели главным образом дворяне, но во многих случаях высказывались гласные из крестьян, и их замечания, всегда ясные, практические, относящиеся к делу, всегда выслушивались с почтительным вниманием" (изд. 1877, гл. 32, с. 215).

В значительном большинстве земских учреждений руководящую роль играло, конечно, землевладельческое дворянство. Его политические настроения были различны. „Крепостники", конечно, жалели о потере даровой рабочей силы и считали, что правительство их ограбило. „Прогрессисты" считали, что ни крестьянская, ни земская реформы не пошли достаточно далеко в создании правового государства и требовали продолжения реформ, которое бы „увенчало здание" 34 губернских земских собраний общегосударственным народным представительством. В 1879 г. тверское губернское земское собрание представило императору Александру II адрес, в котором оно указывало, что государь даровал освобожденному от турецкого ига болгарскому народу народно-представительные учреждения, и выражало надежду, что он дарует такие же учреждения русскому народу, мужественно перенесшему все тяготы войны. В 1879 г. черниговское губернское земское собрание, руководимое И. И. Петрункевичем (впоследствии одним из лидеров конституционно-демократической партии), также представило Александру II адрес, убеждая его в необходимости введения в России народного представительства.

На все подобные заявления либеральных земцев правительство неизменно отвечало, что они выходят из того круга прав и компетенций земства, который очерчен в „Положении” 1864 г. Лишь во время народовольческого террора, в самом конце царствования имп. Александра II, министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов, стремившийся к соглашению правительства с „благомыслящими” элементами общества, убедил царя подписать указ о привлечении представителей земств и городов к обсуждению вопроса о реформе органов местного самоуправления.

После убийства Александра II государственная власть фактически перешла в руки К. П. Победоносцева, который был непримиримым врагом всякого народного представительства, а великие реформы Александра II считал „преступной ошибкой”. Изданное 14 августа 1881 г. „Положение об усиленной охране” предоставляло генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам широкие полномочия в деле контроля над деятельностью органов местного самоуправления. 12 июня 1890 г. было издано новое „Положение о земских учреждениях”, согласно которому губернатору предоставлялось право приостанавливать исполнение постановлений выборных земских собраний не только если они нарушают закон, но и если они „явно нарушают интересы местного населения”. В случае разногласий между земством и губернатором вопрос решает не Сенат, а новоучрежденные „губернские по земельным делам присутствия”, в которых хотя и присутствовало два представителя от земства, но большинство состояло из высших губернских чиновников. В уездных земских собраниях представителям землевладельческого дворянства было предоставлено решительное преобладание.

После смерти Александра III в октябре 1894 г. общественность ожидала перемен в сторону либерализма, а земцы надеялись на освобождение от стеснительной административной опеки. Однако Николай II горько разочаровал либеральные круги своей известной речью перед делегацией земских и городских деятелей в январе 1895 года, в которой он отверг „бессмысленные мечтания участия представителей земства в делах внутреннего управления”. Итак, правление Победоносцева сохранилось еще на 10 лет.

В ноябре 1904 г., когда страну уже охватили предреволюционные волнения, состоялся съезд представителей губернских земств, который принял резолюцию с требованием введения в России народного представительства и предоставления населению гражданских свобод. Осенью 1905 г. оппозиционное движение приняло открыто революционный характер, и земцы, приехавшие на съезд в Петербурге, в октябре вступили непосредственно в политическую борьбу. Радикальное большинство вошло в состав новообразованной „конституционно-демократической партии”; умеренно-либеральное меньшинство вступило в состав партии „Союз 17 октября”.

Царский манифест 17 октября 1905 г. и „Основные государственные законы” 23 апреля 1906 г. начали в России „думскую эпоху”, и в последовавшее десятилетие работа земских учреждений успешно и энергично развивалась. Губернаторский контроль над постановлениями и действиями земских собраний значительно ослабел, а местами и вовсе прекратился.

Правда, некоторая часть земцев из дворян-землевладельцев, напуганная аграрными погромами 1905—1906 гг., значительно „поправела” в своих

политических убеждениях, но на земской работе это не отразилось. Согласованное и дружное сотрудничество правительства, Государственной Думы и земства в период 3-й Думы проявилось особенно успешно в области народного образования и в сфере агрономической помощи крестьянству.

Расходы земства на народное образование поднялись с двух миллионов рублей ежегодно в 1871 г. до пяти миллионов в 1881 г. и в „расцвет” победоносцевского правления в 1901 г. достигли 17 млн. руб. В думскую же эпоху расходы всех земских учреждений на народное образование поднялись с 25 млн. руб. в 1906 г. до 66,5 млн. в 1912 г. Последняя цифра составляла 30% общего расхода всех земств и стояла на первом месте в земском бюджете. Кроме того, 3-я Государственная Дума (1907—1912) ежегодно вотиrowала ассигнование особой суммы (около 10 млн. руб.) на постройку школьных зданий. Школьная сеть охватывала уже больше половины сельских детей школьного возраста, а во многих уездах — всех детей. При этом повышался и уровень начального образования; в части школ двухлетний курс был заменен трехлетним*.

Важной областью работы земских учреждений была медицинская помощь сельскому населению. До введения земских учреждений деревня вообще не знала научной медицины и обходилась своими „бабками” и „знахарями”, а к первым появившимся докторам относилась подозрительно. Но к концу XIX века в сельских местностях было уже около

* См.: О. В. К а й д а н о в а, Очерки по истории народного образования в России. Брюссель, 1938. Nicholas A. H a n s, History of Russian Educational Policy 1701—1917. London, 1931. William J o h n s o n, Russian Educational Heritage. Pittsburgh, 1950. Последние две книги, с множеством статистических таблиц, излагают историю всех трех ступеней русского образования.

300 земских больниц с 40.000 кроватей, 2.500 врачей и около 8.000 вспомогательных медицинских работников. Медицинская помощь в больницах, амбулаториях и на дому (во всякую погоду!) оказывалась бесплатно. В думскую эпоху земская медицина усовершенствовалась параллельно с общим прогрессом медицинских наук. В 1912 г. расходы всех земских учреждений на медицинскую помощь составляли 57,5 млн. руб., или 26% общего расхода земских учреждений.

Кроме того, в думскую эпоху развилась третья основная область земской деятельности — агрономическая помощь крестьянскому населению, столь необходимая и столь долго игнорируемая. Крестьянин в XIX веке, как при Святославе и Владимире, мелко ковырял землю железными сошниками деревянной сохи, сеял жито, забирая горсти зерна из лукошка, висевшего на шее сеятеля, и разбрасывая зерна по полю, молотил снопы деревянными цепами, веял жито на лопате силою ветра и собирал 30—35 пудов с десятины, в то время как культурные хозяйства землевладельцев собирали по 70—90 пудов с десятины. При увеличении крестьянского населения и отсутствии роста урожайности на крестьянских полях хлеба „на едока” приходилось все меньше и меньше.

„Прогрессивная общественность” настойчиво твердила, что единственным способом экономического подъема деревни может быть ликвидация крестьянского малоземелья путем принудительного отчуждения дворянских земель и раздела их между крестьянами. В действительности же никакого малоземелья в России не было, ибо в руках бедствовавшего русского крестьянства находилось гораздо больше пахотной земли, чем в руках его процветающих европейских собратий. Кроме того, пло-

щадь крестьянских земель в 1905—1906 гг. в три или четыре раза превышала площадь земель, бывших в руках дворянства. Правительство, начиная с премьер-министра Столыпина, противилось дележке дворянских земель, утверждая, что такая мера принесет весьма малую помощь крестьянам, но причинит большой вред народному хозяйству в целом, разрушив экономически эффективные крупные предприятия*. Наконец, в „столыпинское время” правительство и земство обратили больше внимания на экономические проблемы сельского хозяйства и вплотную занялись вопросами технического подъема крестьянских хозяйств.

Расходы земства на агрономическую помощь крестьянству составляли в 1895 г. совершенно ничтожную сумму 700 тыс. руб., или 1% земского бюджета. К 1912 г. они возросли до 14 млн. руб., или 6,3% земского бюджета. Земский агроном, бывший прежде редким гостем не только на крестьянских полях, но и в уездных городах, ныне занял свое место рядом с земским учителем и земским врачом. В 1895 г. на всю Россию было лишь 134 земских агронома, а в 1915 г. их стало 3.266. Они устраивали опытные поля, заботились о снабжении крестьянских хозяйств лучшим посевным материалом и инвентарем, производили мелиоративные работы. Все уездные земства устраивали склады сельскохозяйственных машин и орудий, которые

* Это и произошло в 1918 году, как свидетельствует Б. Н. Книпович, заведовавший статистическим отделом ленинского Наркомзема: „...положительные итоги раздела для малоземельных и безземельных слоев крестьянства были ничтожны, отрицательные же были чрезвычайно ощутительны, ибо были разрушены культурные хозяйства, снабжавшие рынок большим количеством продуктов” (Очерк деятельности Народного Комиссариата Земледелия за три года, 1917—1920. Москва, Госиздат, 1921).

продавались крестьянам по льготным ценам с платежом в рассрочку, быстро опустошались и наполнялись вновь. Потребление сельскохозяйственных машин и орудий — как домашнего, так и заграничного производства — быстро возрастало. В 1900 г. его объем составлял 28 млн. руб., а к 1913 г. он поднялся до 109 млн., причем почти весь этот прирост приходился на крестьянские поля, так как помещичьи хозяйства были и прежде достаточно обеспечены инвентарем и в них молотили не цепями, а молотилкой.

Итак, в думскую эпоху на крестьянских полях железный плуг постепенно сменил деревянную соху, сеялка сменила лукошко, косилка сменила косу и серп, молотилка (в хозяйствах зажиточных крестьян или во владении крестьянских групп) сменила цеп, веялка сменила лопату.

В результате столыпинских землеустроительных работ и усердной деятельности земства, обработка крестьянских полей в думскую эпоху улучшилась и урожайность их увеличилась — это относится именно к крестьянским полям, так как технический строй помещичьих хозяйств реформами не был затронут. За пятилетие 1909—1913 гг. средний сбор с десятины составлял 52,7 пуда ржи, главной кормилицы русского крестьянина; сбор пшеницы (которую в южных областях сеяли не только помещики, но и крестьяне и казаки) составлял 61 пуд с десятины. Это еще не много, но почти вдвое больше того, что давали крестьянские поля в XIX веке.

Итак, русское земство не путем классовой борьбы, но дружным сотрудничеством дворянства, крестьянства и интеллигенции принесло русскому крестьянству огромную пользу в области народного образования, медицинской помощи, и — после тысячелетнего застоя — в поднятии технического уровня

и урожайности значительной части крестьянских полей.

Общую картину деятельности всех земских учреждений в думскую эпоху дает суммарная таблица земских расходов в 1912 г. по отдельным категориям.

Народное образование	30,0%
Медицина и санитария	26,0%
Содержание земского управления	7,0%
Устройство и содержание дорог	7,0%
Экономические и агрономические мероприятия	6,3%
Участие в расходах правительственных учреждений	5,0%
Ветеринарная часть	2,8%
Общественная благотворительность	1,7%
Уплата долгов и разные отчисления	14,0%
Итого:	219,7 млн. руб. 100,0%

Таким образом, общий бюджет 34 земских губерний составлял в 1912 г. 220 млн. руб., в 3,3 раза больше, чем в 1895 г. Кроме того, в шести западных губерниях, где земство было введено лишь в думскую эпоху, на земские нужды было истрачено 30 млн. руб. В 1914 г. земский бюджет 43 губерний достиг 347,5 млн. руб.

Города в России до середины XIX века владели довольно жалкое существование; в них проживало менее одной десятой населения, и жители их частично занимались земледелием или отхожими промыслами. Оживление экономической жизни, связанное с освобождением крестьян, требовало серьезных реформ и в городах.

Изданное 16 июня 1870 г. „Городовое положение” определило, что в ведении городского общественного управления должны находиться: 1) го-

родское хозяйство и администрация; 2) внешнее благоустройство; 3) благосостояние городского населения: устройство рынков и базаров, меры против пожаров, попечение о развитии торговли и промышленности, об устройстве бирж и кредитных учреждений; 4) устройство благотворительных заведений и больниц, „участие в попечении о народном образовании”, устройство театров, музеев, библиотек; 5) представления правительству о местных пользах и нуждах.

Главным органом городского самоуправления была городская дума, составляемая из гласных (не менее 30), избираемых на четыре года. Дума избирает (на четыре года) городского голову и членов городской управы (не менее двух). Городские головы губернских городов утверждаются министром внутренних дел, уездных — губернатором. Городской голова председательствует в думе и в управе. Избирательное право имеют в городах лица, владеющие недвижимым имуществом, или содержащие торговое или промышленное заведение, или уплачивающие в пользу города установленный сбор с купеческих и промысловых свидетельств.

Согласно закону, „городское общественное управление, в пределах предоставленной ему власти, действует самостоятельно”. Городская дума имела право издавать для населения обязательные постановления по вопросам, касающимся городского благоустройства.

Для наблюдения за действиями органов городского самоуправления учреждается „губернское по городским делам присутствие” из высших губернских чиновников и представителей органов самоуправления. Губернатор приостанавливает исполнение „противозаконных определений думы” и передает их на рассмотрение губернского присутст-

вия, которое может отменить постановление думы. Городское управление может такую отмену обжаловать в Сенате, которому и принадлежит окончательное решение.

В эпоху Победоносцева, вслед за изданием в 1890 г. нового „Положения о земских учреждениях“, ограничивавшего сферу деятельности земства, 11 июня 1892 г. было издано и новое „Городовое положение“. Оно уменьшило число лиц, имеющих право участия в избрании гласных городской думы, путем повышения имущественного ценза и усилило административный контроль губернатора и „губернского по земским и городским делам присутствия“. Положение это осталось в силе до конца империи.

В результате — управление делами малых городов находилось преимущественно в руках зажиточного купечества, под непосредственным надзором Министерства внутренних дел. Однако в думах крупных городов была широко представлена и имела значительный вес интеллигенция. (Например, в 1910 г. в Харьковской думе было 23 купца, 23 служащих и 36 инженеров, адвокатов, врачей и профессоров.) Видный московский городской деятель Н. И. Астров пишет: „Сотрудничество буржуазии с интеллигенцией и высокий профессиональный уровень постоянных городских служащих, носивших, в отличие от государственных служащих и выборных членов городской думы, название „третьего элемента“, ослабляли неблагоприятные последствия ограниченного избирательного права и в известной степени компенсировали отсутствие подлинного народного представительства. Сотрудничество деловых кругов с представителями образованных и прогрессивных элементов стало отличительной чертой многих учреждений городского самоуправления

ния" (N. I. Astrov, Municipal Government and the All-Russian Union of Towns. New Haven, 1929, сс. 138—139).

Состояние городского самоуправления отражало общую неравномерность городского развития. В столицах и некоторых южных городах (Киев, Одесса, Харьков, Ростов, Екатеринослав) мы видим быстрый рост населения и всесторонний прогресс в сфере городского хозяйства и благоустройства: на рубеже XX века здесь появляются электрическое освещение, электрические трамваи, городской водопровод, канализация, городские бойни; устраивается сеть общих и специальных школ, городские больницы и приюты, библиотеки, читальни, музеи, театры. В мелких же уездных городишках люди по-прежнему ведут сонную полусельскую жизнь.

Некоторое понятие о деятельности городского самоуправления дает статистика городских финансов. В 1913 г. лишь 35 городов имели бюджет, превышавший один миллион рублей; суммарный бюджет 693 городов почти удвоился между 1904 и 1913 годами, достигнув 297 млн. руб.; однако почти треть его приходилась на Петербург и Москву. Таким образом, общий бюджет всех органов городского и земского самоуправления (но не включая сельской общины) в 1913 г. значительно превышал 0,5 млрд. руб., в то время как бюджет центрального правительства составлял 3,1 млрд.

Городские доходы поступали главным образом от налогов на недвижимое имущество, но с начала XX века возрастающую роль начинают играть доходы городских предприятий. В крупнейших городах эта статья обеспечивала треть, а то и половину всех городских поступлений. Города сознательно старались выкупать частные предприятия городско-

го хозяйства и транспорта. Значительным общественным предприятием с 1788 г. были городские банки (в 1913 г. их было 337).

Общую картину деятельности городского самоуправления в думскую эпоху дает суммарная таблица расходов 971 города в 1912 г.

Содержание городского управления	30,2%
Медицина и санитария	12,5%
Народное образование	12,1%
Участие в расходах правительственных учреждений (в том числе квартирная повинность и полиция)	10,9%
Благоустройство	9,5%
Уплата долгов и разные отчисления	24, 8%

Итого:	275,6 млн. руб. 100%
--------	----------------------

В заключение следует напомнить о том, что в военные годы органы городского и земского самоуправления приходили на помощь государству и принимали деятельное участие в обслуживании нужд армии. Такой „общеземский союз” возник и работал во время русско-японской войны 1904—1905 гг., а через две три недели после начала первой мировой войны в августе 1914 г. образовался „Всероссийский земский союз” и „Всероссийский союз городов” под общим названием „Земгор”, энергично принявшиеся за работу. Денежные средства были предоставлены в их распоряжения правительством. Деятельность „Земгора” была разнообразна: устройство госпиталей, санитарных поездов и эвакуационных пунктов; перевозка больных и раненых и снабжение их всем необходимым; помощь беженцам с театра войны. Впоследствии „Земгор”, по соглашению с правительством, приступил к обслуживанию нужд действующей армии, к заго-

товке для армии белья, обуви, теплой одежды. Эти вещи или сдавались в интендантство, или доставлялись земско-городской организацией прямо на фронт. В прифронтовой полосе также устраивались питательные пункты. И хотя армия посмеивалась над „земгусарами” (служащие земско-городского союза, обслуживающие нужды армии, носили полу-офицерскую форму), но видела от них много пользы и добра.

К истории гибели памятников русской культуры

Публикуя присланные нам из Ленинграда фотографии взорванных или перестроенных — для производственных целей — церквей, мы отнюдь не претендуем на полноту этого списка, свидетельствующего о варварском отношении к памятникам русской культуры.

Так, к сожалению, отсутствует фотография Благовещенской церкви, взорванной в конце 20-х годов. Эта церковь, построенная в середине прошлого века на месте старой, стояла на нынешней площади Труда (бывш. Благовещенская площадь) и была полковой церковью Конногвардейского полка. По дошедшим до нас рассказам прихожан, в ней находились некоторые реликвии и трофеи полка, сохранявшиеся со времен Аустерлица и заграничных походов 1813—14 гг. В Благовещенской церкви отпевали офицеров полка, погибших в Восточной Пруссии, в августе 1914 г. и позже, на фронтах первой мировой войны.

Но и публикуемый нами перечень церквей — страшен. Взорваны неповторимые творения — Ринальди, Демерцова, Старова и многих других видных русских зодчих, — неразрывно связанные со многими историческими и литературными событиями в нашей истории.

Эта статья составлена при ближайшем участии Н. М. Янова.

Достаточно напомнить, что взрыв Покровской церкви в Коломне — безвозвратная утрата для всех, кто ценит и любит пушкинский Петербург. Кто не помнит пушкинского „Домика в Коломне”, написанного в знаменитую „Болдинскую осень”? Прожив свои первые три петербургские года, после окончания Лицея, в квартире своих родителей, в доме вице-адмирала Клокачева, на Фонтанке № 185, Пушкин часто ходил к обедне в Покровскую церковь. Десять лет спустя, в Болдине, описывая свою героиню из Коломны, он писал и о себе:

„По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилась перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье”.

Взорвать эту, воистину „пушкинскую”, церковь, да еще построить там, где она стояла, публичное отхожее место! — нужно ли еще после этого говорить о подлинном отношении коммунистических властей к самым святым памятникам русской культуры, в самом широком смысле этого слова?!

Другим примером отношения власть имущих к памятникам русской культуры может служить взрыв — в середине 30-х годов — храма-памятника Спаса-на-водах. Эта церковь была построена на собранные всенародно деньги и стояла в конце Английской набережной (ныне — набережная Красного флота), при впадении Новоадмиралтейского канала в Неву. Замыкая перспективу Английской набережной, этот храм, находившийся напротив Морского

корпуса, был построен на территории Адмиралтейского завода, со стапелей которого сошли многие боевые корабли, погибшие в Цусимском бою.

Вскоре после окончания Русско-японской войны, по инициативе вдовы доблестно погибшего в Цусимском бою командира крейсера „Светлана”, Е. А. Шейн, был создан комитет по сбору пожертвований на постройку храма в память погибших моряков. На докладе П. А. Столыпина по этому делу, от 22 ноября 1908 г., император Николай II наложил резолюцию: „Согласен и всецело сочувствую увековечению памяти погибших моряков”*.

Средства на постройку были собраны чрезвычайно быстро, и 15 мая 1910 г. состоялась закладка храма, во время которой греческая королева Ольга Константиновна — дочь создателя русского парового флота, генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича, положила в закладной камень Георгиевский крест, символически награждая им, по указанию Государя, всех доблестно погибших моряков.

Храм-памятник, или — как говорили в народе — Цусимская церковь, был построен по проекту выдающегося архитектора М. М. Перетятковича. Мозаики и роспись были выполнены под руководством художника-академика Бруни, а доски, с выбитыми на них именами погибших офицеров и матросов, — при участии скульптора Б. М. Микешина.

При освящении храма, 31 июля 1911 г., присутствовал Государь, а также морской министр, порт-артурец — адмирал Григорович, начальник главного морского штаба, адмирал М. М. Яковлев — чудом спасшийся командир погибшего броненосца „Петропавловск”, командующий Балтийским флотом,

* См. „Морской журнал” № 128 (8), Прага, 1938, с. 5.

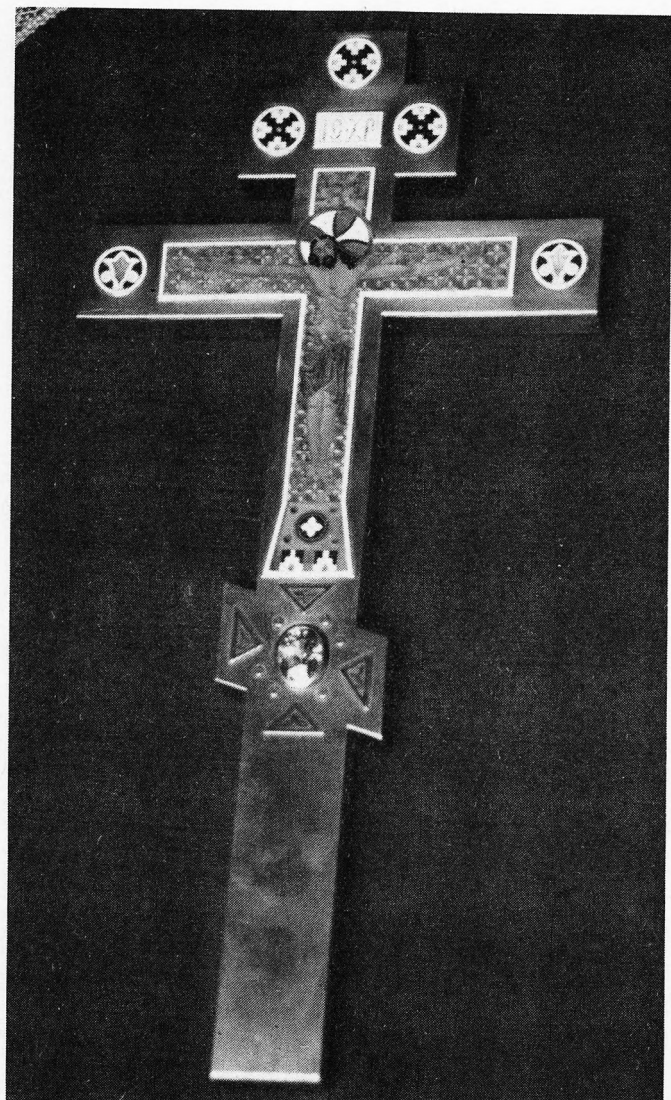
бывший командир георгиевского броненосца „Севастополь” — Н. О. Эссен и многие другие, в том числе многочисленные родственники погибших в бою моряков.

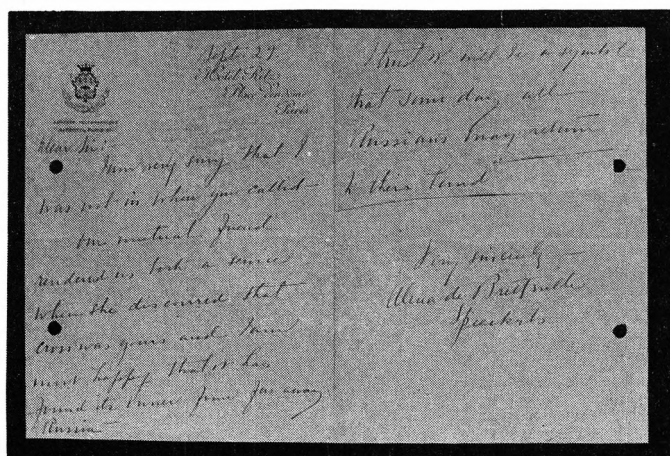
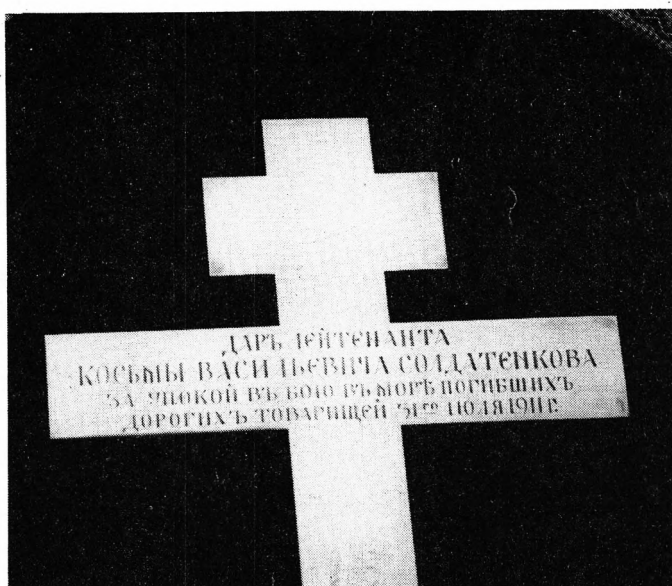
Храм-памятник Спаса-на-водах был взорван уже при Жданове, когда прозвучали первые попытки использовать запрещенные ранее патриотические чувства. Еще задолго до взрыва Храм был ограблен. Не ворами и бандитами, а той же властью. Иконы и утварь его пошли на распродажу (конечно, за валюту!) богатым иностранцам. Среди разбазариваемых предметов церковной утвари оказался и золотой напрестольный крест с надписью на обратной стороне: „Даръ лейтенанта Косьмы Васильевича Солдатенкова за упокой въ бою въ морѣ погибшихъ дорогихъ товарищей 31-го іюля 1911 г.”

Этот крест мы обнаружили в Париже. С чувством самой глубокой признательности за возможность опубликования фотографии этого креста (а также одного из писем выкупившей его г-жи Альмы де Б. Спрекельс) мы приводим выдержки из письма отца Николая Солдатенкова, любезно сообщившего нам следующее:

„В сентябре 1904 года, вскоре после окончания Морского корпуса, дед мой Кузьма Васильевич Солдатенков был назначен мичманом на крейсер „Олег”. „Олег”, новый корабль, вошедший в состав Второй Тихоокеанской эскадры адмирала Рождественского, после длительного плавания участвовал в Цусимском сражении и вырвался из японского окружения вместе с крейсерами „Аврора” и „Жемчуг”. Дед мой был тяжело ранен в этом бою.

Когда в 1911 году в Петербурге был воздвигнут храм Спаса-на-водах, дед мой подарил церкви напрестольный крест с дарственной надписью.





После революции моя семья эмигрировала сначала в Англию, а потом поселилась во Франции, под Парижем. В 1933 году богатая американка — г-жа Альма де Б. Спрекельс — поехала в Советский Союз, где во время распродажи предметов из ограбленных большевиками церквей она купила этот золотой крест.

На пути в Америку, остановившись в Париже, она показала этот крест своей хорошей знакомой, одной из дочерей генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова. Каково было ее изумление, когда последняя сообщила, что лейтенант Солдатенков, принесший в дар этот крест храму-памятнику, жив и находится под Парижем. Узнав адрес моего деда, она передала ему этот драгоценный крест, и в одном из сохранившихся у меня писем писала:

„Дорогой сэр, — я очень сожалею, что меня не было, когда Вы позвонили. Наш общий друг оказала нам обоим услугу, обнаружив, что этот крест был Вашим, и я в высшей степени счастлива, что он теперь нашел своего владельца из далекой России.

Я верю, что этот случай останется символом веры в то, что наступит день, когда все русские смогут вернуться к себе на Родину”.

Этот чудом сохранившийся крест — продолжает о. Солдатенков, — находится теперь в моих руках. Вот уже почти шесть лет, как я, став священником, совершаю богослужения на большие праздники с этим крестом на Святом Престоле.

И если сегодня Россия страдает, то этот крест остается символом, подающим надежду, что утраченная свобода и величие вернутся на нашу русскую землю.

Иерей Николай Солдатенков,

Настоятель Свято-Серафимо-Покровского Храма в Париже”.

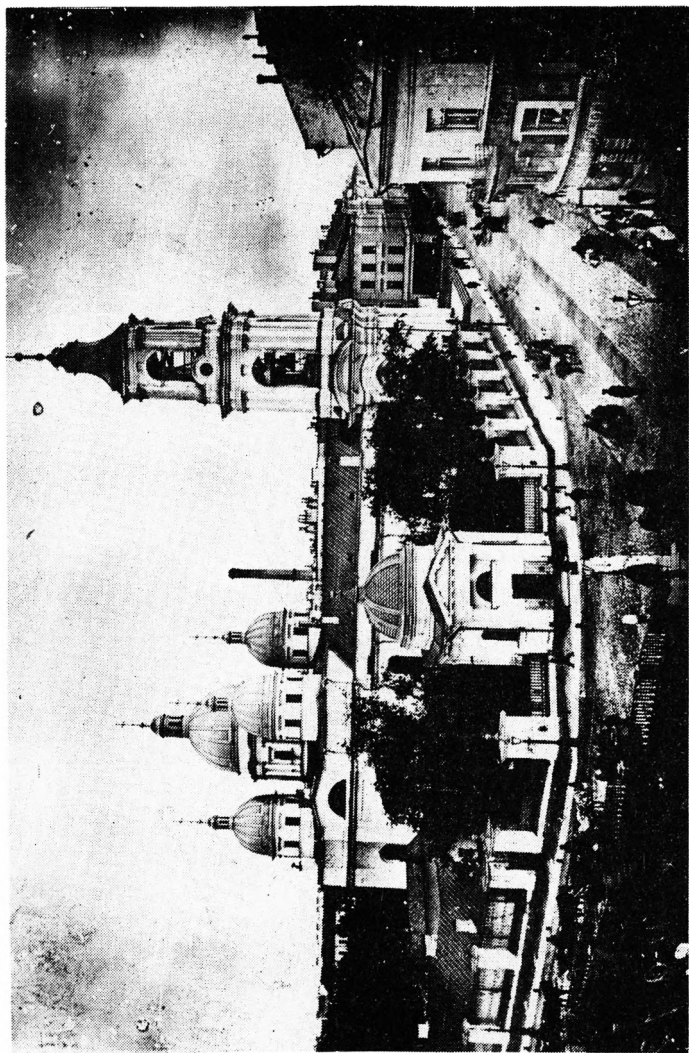
Так, действительно чудом, до нас дошла не только память о храме-памятнике, но и подлинный на престольный крест из Цусимской церкви.

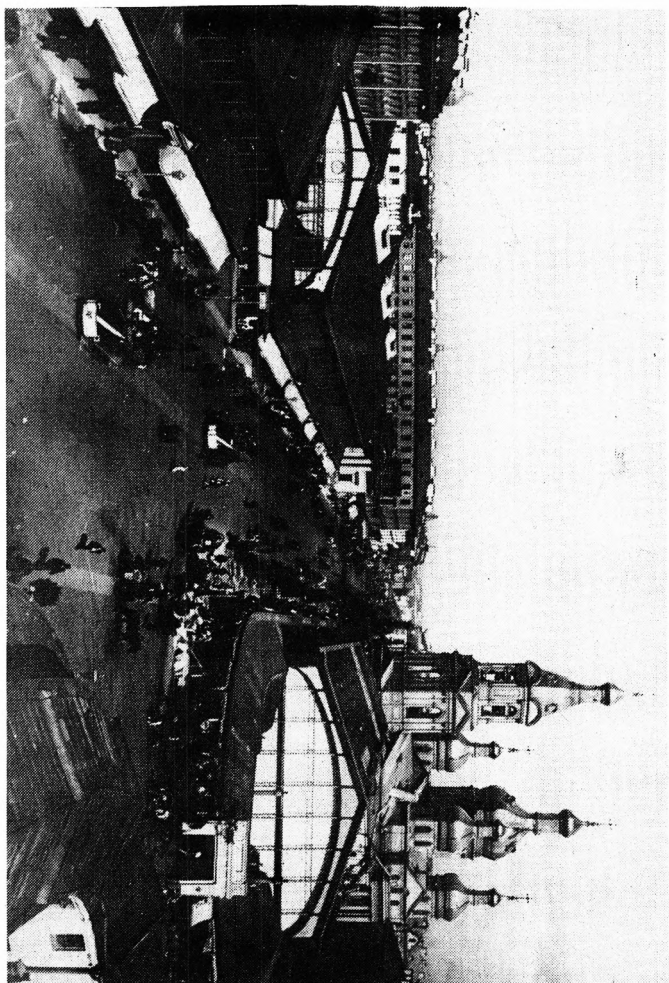
Все, кому дорога эта память, конечно, понимают, что, взрывая церковь Спаса-на-водах незадолго до блокады Ленинграда, коммунистическое руководство прибегло в годы войны к использованию русских национальных чувств только в силу крайней необходимости. Лишь тогда, когда оно увидело в этом последнее средство для своего спасения. О подлинном же отношении властей к национальным ценностям народа еще и еще раз свидетельствует грохот многочисленных взрывов петербургских церквей, уничтожаемых с целью заглушить народную память и обратить в прах национальную культуру.

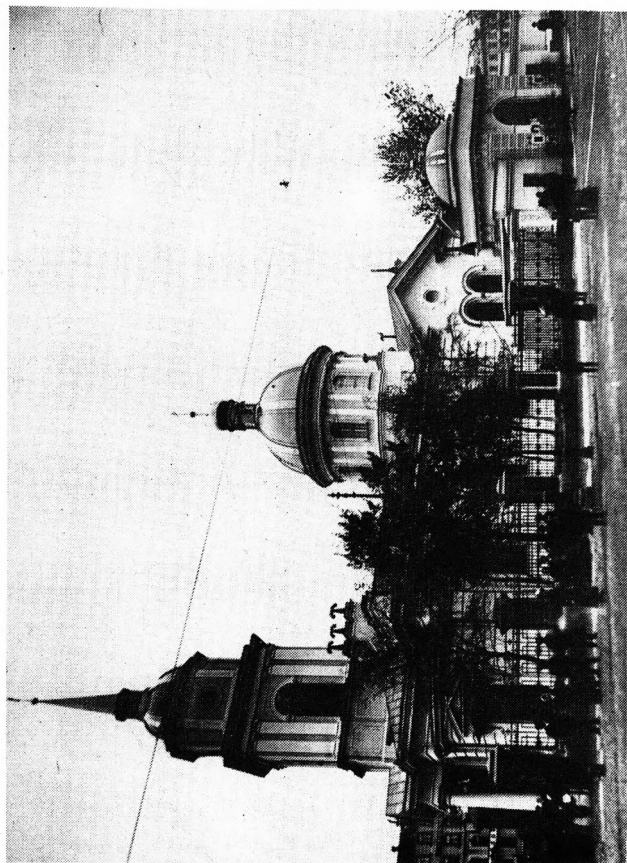
И приходится признать, что эти взрывы, это систематическое уничтожение и распродажа памятников и сокровищ национальной культуры принесла Петрограду (если не говорить, конечно, о гибели несравненного ожерелья дворцов и парков на линии блокадного фронта) не менее, а пожалуй, и более непоправимый ущерб, чем варварские бомбардировки гитлеровской авиацией и обстрел неприятельской артиллерией.

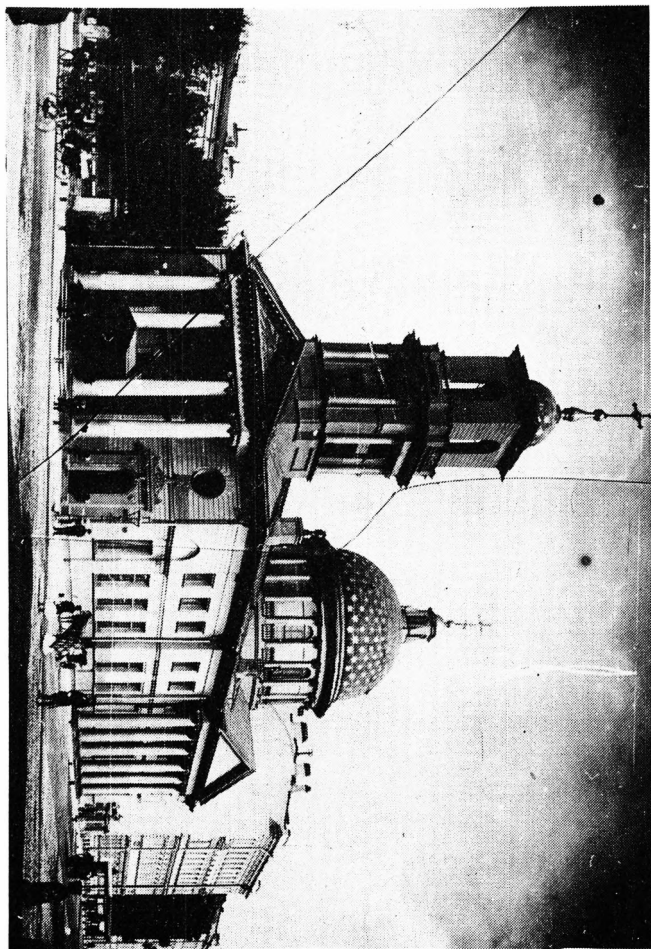
Но Гитлер и не скрывал своего желания стереть с лица земли бывшую столицу Российской Империи и уничтожить ее жителей, а коммунистическая власть делала то же, если не хуже, ради превращения города в „Колыбель Октября”, то есть стремилась к его духовной смерти, — не говоря уже о волнах террора, жертвам которого еще не поставлен памятник.

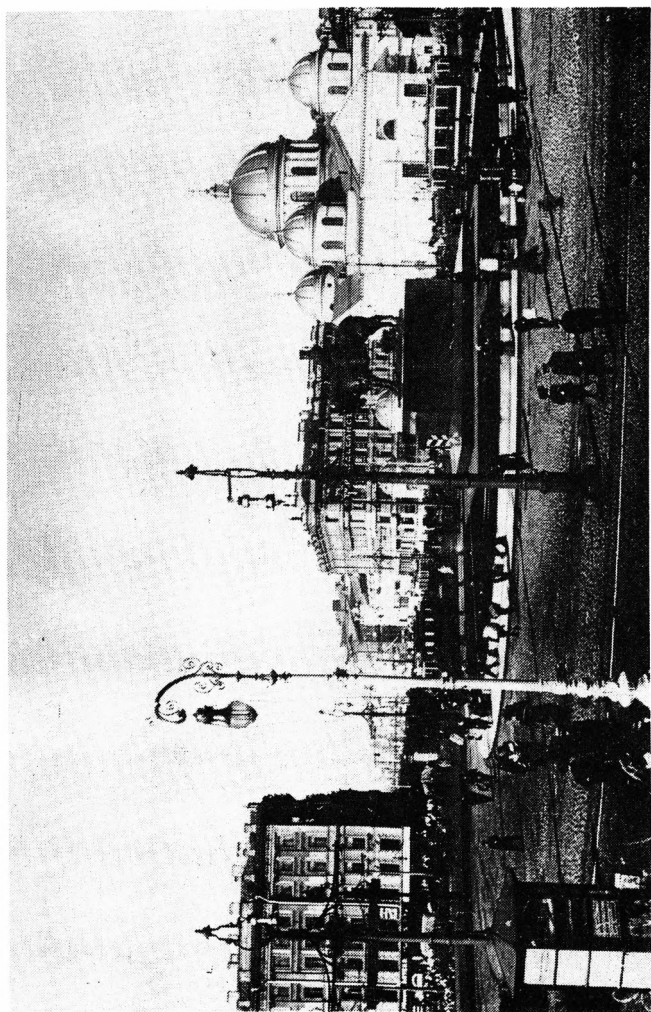
Н. Рутыч

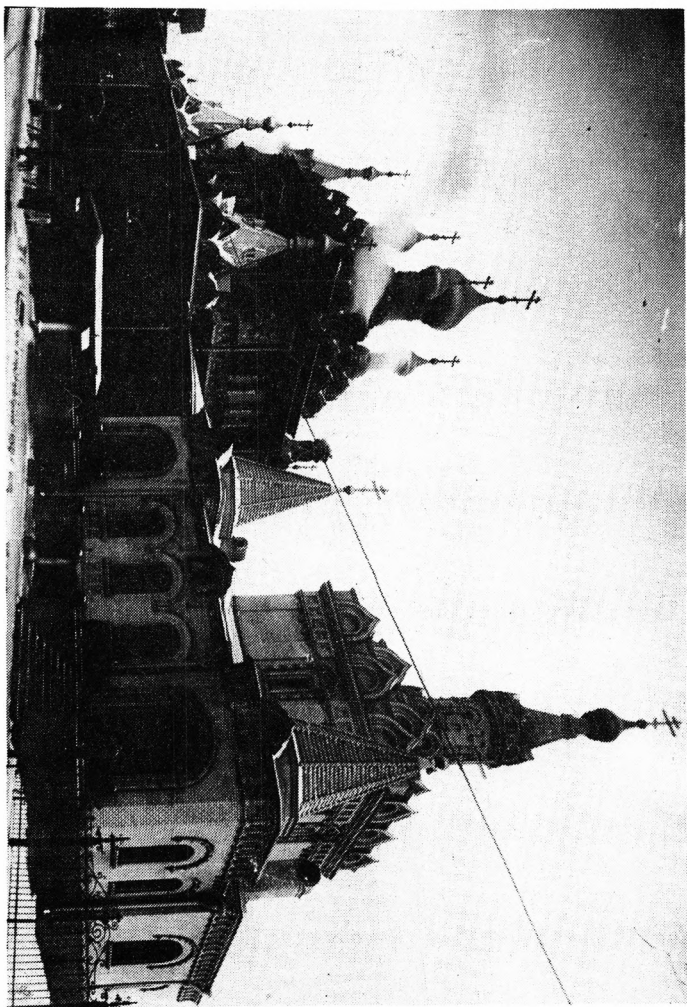




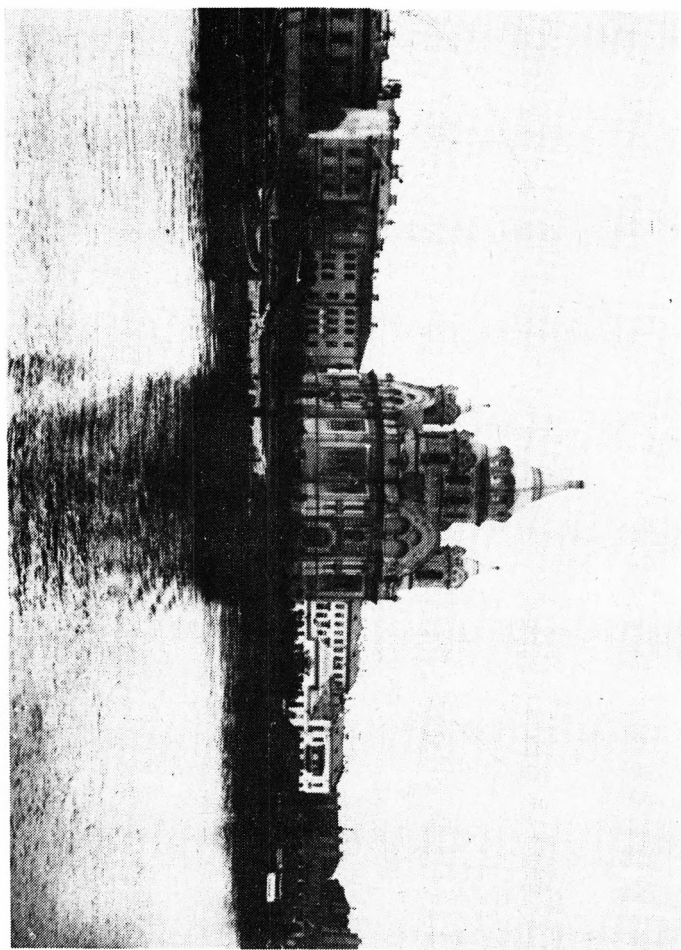


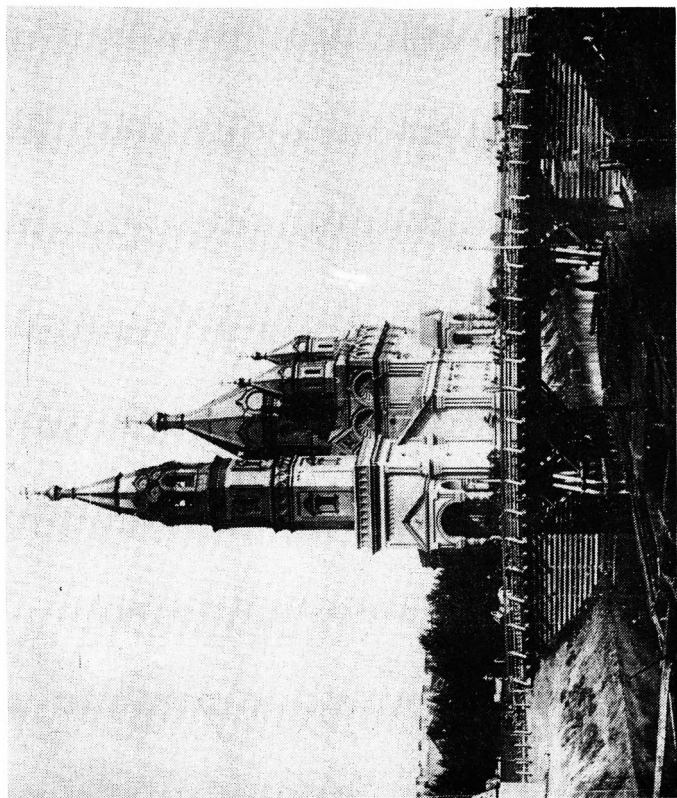


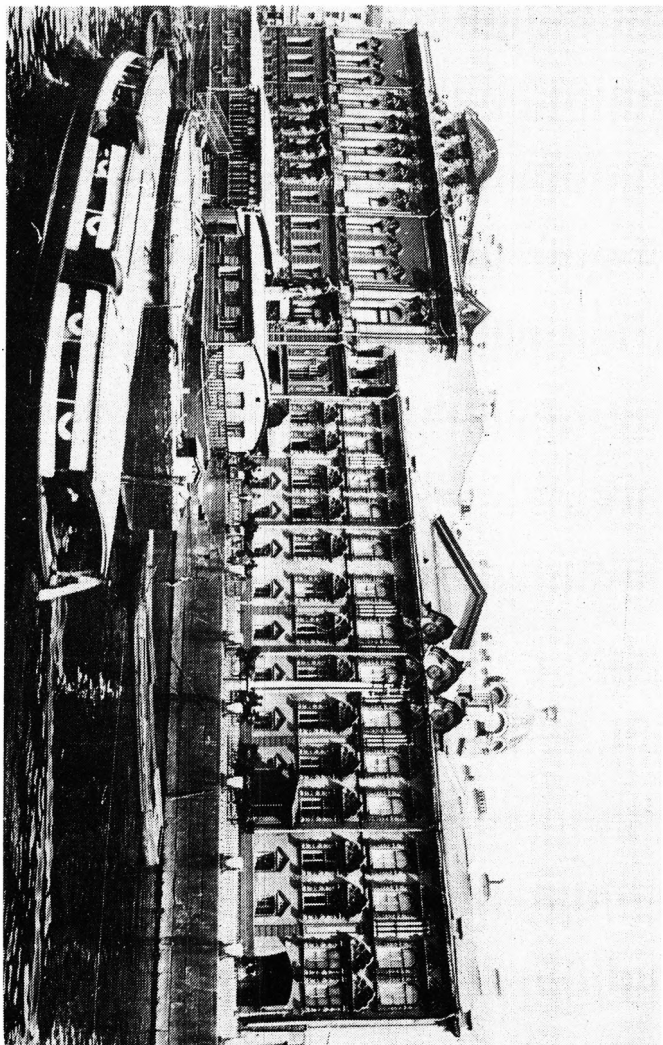


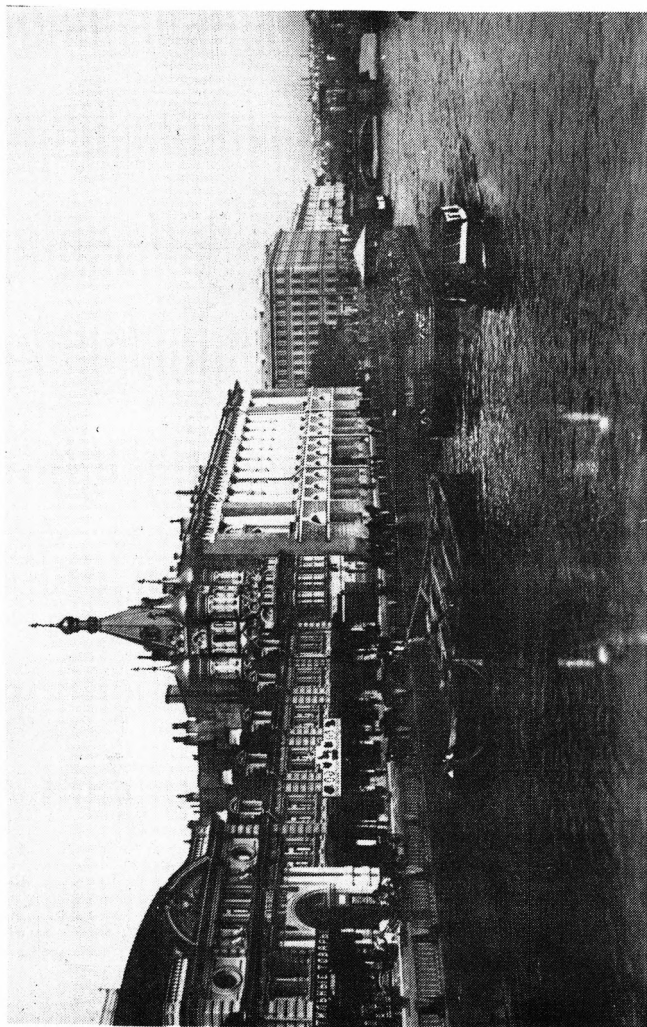






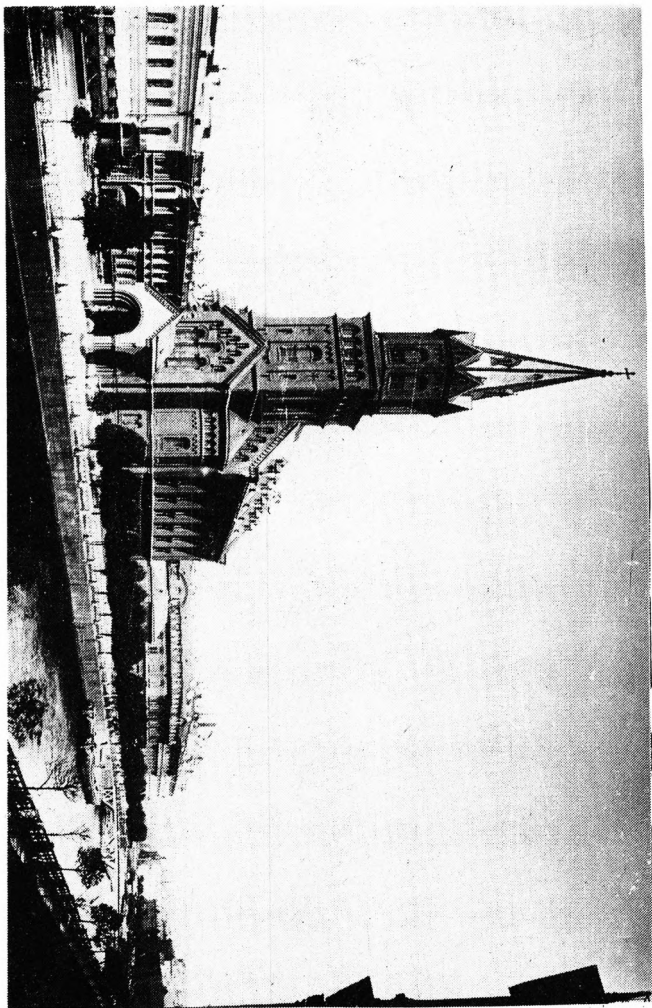














Комментарии к фотографиям

1. Церковь Вознесения Господня (1769 г.). Арх. А. Ринальди, он же — строитель Мраморного и Гатчинского дворцов.

Одна из лучших церквей Петербурга второй половины XVIII века, по имени которой получил свое название Вознесенский проспект (ныне — просп. имени Майорова) — одна из основных магистралей города, вошедшая вместе с Невским проспектом и Гороховой улицей (ныне — ул. им. Дзержинского) в систему трех лучей, идущих от Адмиралтейства.

Церковь Вознесения была снесена в начале 30-х годов, и на ее месте было построено небольшое квадратное здание школы (перестроена в 50-х годах), никак не соответствующее ансамблю, образуемому пересечением проспекта им. Майорова с каналом Грибоедова, сохранившим характерный для конца XVIII века облик.

2. Церковь Успения Пресвятой Богородицы („Спас-на-Сенной”), 1753—1765 гг. Автор — не установлен, но, судя по старинным гравюрам, возможно — Чевакинский, строитель Никольского собора.

Одна из наиболее известных церквей Петербурга на Сенной площади (ныне — Площадь мира). Взорвана в 50-х годах, при строительстве метро, несмотря на категорические протесты широких кругов общественности. Ныне, приблизительно на месте колокольни, находится павильон станции метро „Пл. Мира”. Окружавшие раньше церковь павильоны, построенные в 1873—1885 гг. по образцу павильонов парижского центрального рынка („Чрево Парижа”) были разобраны еще в 1939 году, и площадь полностью утратила свой специфи-

ческий петербургский облик, неоднократно описанный, в частности, Достоевским.

3. Церковь Покрова (между 1796—1812 гг.), построенная известным петербургским арх. И. Е. Старовым, создавшим много памятников архитектуры, в стиле раннего русского классицизма. Церковь Покрова находилась в конце Садовой улицы, в центре характерного района Петербурга — Коломны. Эта церковь не раз упоминается Пушкиным. Снесена в начале 30-х годов, и в настоящее время на бывшей Покровской, ныне — Тургеневской, площади разбит сквер, с общественным туалетом в середине.

4. Церковь Св. Сергия (1796—1800 гг.). Арх. Ф. Демерцев, выдающийся мастер раннего русского классицизма.

Находилась на углу Литейного проспекта и Сергиевской улицы (получившей свое название по имени церкви), ныне — ул. Чайковского. Снесена в 30-х годах, при строительстве административного здания.

5. Церковь Знамения (1794—1804 гг.). Выдающийся памятник раннего русского классицизма, созданный арх. Ф. Демерцевым при градостроительном завершении Невского проспекта, вливающегося в Знаменскую площадь (ныне — пл. Восстания), получившего свое название от церкви. От нее же получила свое название и идущая перпендикулярно Невскому проспекту Знаменская улица (ныне — улица Восстания). Церковь была закрыта и вскоре снесена в самом конце 30-х годов, после смерти академика Павлова, бывшего в течение последних десятилетий его жизни ее прихожанином. В настоящее время на месте церкви — павильон станции метро „Пл. Восстания”.

6—7. Церковь Богоматери „Всех Скорбящих Радосте”, архитекторы А. И. Гоген и А. В. Иванов. Построенная в 1893—1898 гг. в заводском районе, на бывшем Шлиссельбургском тракте, неподалеку от Обуховского завода, церковь представляет собой образец „Русского стиля”, широко распространенного в церковном строительстве во второй половине прошлого века. В настоящее время сохранилась лишь часовня — на переднем плане, построенная арх. А. И. Гогеном в 1905 г. В ней находится фабрика игрушек. Адрес: пр. Обуховской обороны, № 24.

8. Церковь Бориса и Глеба, на бывшей Калашниковской (ныне — Синопская) набережной. Архитекторы Н. А. Щуров и А. И. Рязан. Построенная в 1869—1882 гг. церковь находилась в центре „Хлебной гавани” Петербурга, на Калашниковской набережной. Недалеко от нее, на Полтавской улице, находилась известная на всю Россию Калашниковская хлебная биржа. Церковь Бориса и Глеба, хорошо просматриваемая с Невы, образовывала как бы центр протяженной набережной, напротив которой находилось известное Валаамское подворье — представительство Валаамского монастыря на Ладожском озере. От церкви Бориса и Глеба отходили пароходы с паломниками на Валаам. Уничтожение церкви Бориса и Глеба — пример продолжающихся сносов памятников русской культуры, осуществляемых в самое последнее время — 70-е годы. В настоящее время — пустырь на Синопской набережной.

9. Церковь Мирония при казармах Лейб-Гвардии Казачьего полка, на углу Обводного канала и Рузовской улицы, вся левая сторона которой была занята казармами этого полка. Постройка академика-архитектора К. А. Тона, в 1849—1855 гг. Как из-

вестно, К. А. Тон — создатель (также разрушенного советскими властями) храма Христа-Спасителя, в Москве. Насколько нам известно — ни одна из церквей, построенных Тоном в русско-византийском стиле в России, — не сохранилась.

10. Подворье Троице-Сергиевой лавры, построенное архитектором А. М. Горностаевым на набережной реки Фонтанки, 44.

Петербургское подворье Троице-Сергиевой лавры размещалось рядом со дворцом кн. Белосельских-Белозерских (на фото слева). Академик А. М. Горностаев построил подворье в 1857 г., используя мотивы русской архитектуры конца XVII века, в соответствии с елизаветинским барокко, в стиле которого архитектор А. И. Штакншнейдер тогда же перестроил здание дворца кн. Белосельских-Белозерских (в этом здании ныне помещается Куйбышевский райком КПСС). В 1930-е годы здание подворья было полностью перестроено, декор фасада сбит, а сохранившиеся до 1970-х годов интерьеры исчезли в процессе последнего ремонта. В настоящее время в здании размещена районная библиотека.

11. Церковь Воскресения Христова (1885—1894), построенная арх. Л. Ф. Фонтана на набережной р. Фонтанки, 59. Церковь была построена на территории, принадлежащей Апраксину двору — центру обширного торгового района. Подражая пышным формам русской архитектуры XVII века, арх. Фонтана внес известный диссонанс в соседний комплекс построек на Театральной улице архитектора А. И. Росси (на фото справа). Однако здание „Лениздата“, построенное на месте снесенной церкви, внесло еще больший диссонанс.

12. Церковь Алексея человека Божьего, построенная арх. Гриммом в бывшем Геслеровском пере-

улке (ныне Чкаловский проспект № 50). Выдающийся архитектор начала XX века, Гримм создал на окраине Петербурга оригинальный храм, явно рассчитанный на большое количество прихожан. В 1935 году церковь была капитально перестроена под производственное здание и потеряла как свой облик, так и формы.

13. Храм Николая Мирликийского, построенный в 1914—1915 гг. арх. С. С. Кричинским по заказу Российского Православного Палестинского общества. Стилизованный в формах древнерусской архитектуры, этот храм принадлежал к серии церквей, построенных на средства Российского Православного Палестинского общества, в которую входил и храм св. Николая в городе Бари в Италии, окруженный значительным комплексом жилых помещений для паломников. Петербургский храм св. Николая был снесен в 1930-е годы, и в настоящее время на его месте (угол проспекта Бакунина и 2-й Советской ул.) находится сквер.

14. Реформатская церковь, построенная арх. Г. А. Боссе в 1862—1865 гг. Эта кирпичная церковь с высоким шпилем, находившаяся на месте слияния Морской улицы (ныне — улица им. Герцена) с набережной реки Мойки, не нарушала вида, открывающегося с Поцелуева моста на Мойку, где справа стоит Юсуповский дворец с колоннадой архитектора Валлен-Деламота, а слева — главный фасад конногвардейских казарм. В 1930-е годы шпиль церкви был снесен, а сама она перестроена под Дом культуры работников связи в стиле позднего конструктивизма, никак не вяжущегося с этим районом старого Петербурга.

15. Храм-памятник русским морякам, погибшим в Цусимском сражении. Эта церковь Спаса-на-водах была построена выдающимся архитектором

М. М. Перетятковичем на пожертвования, собранные, в частности, и среди рабочих Адмиралтейского завода, где строился ряд боевых кораблей, погибших в Цусимском сражении. Построенная в 1909—1911 гг. на продолжении Английской набережной (ныне — наб. Красного Флота), по ту сторону Новоадмиралтейского канала, церковь была соединена с набережной переброшенным через канал пешеходным мостом. Храм был целиком расписан, а на его стенах висели доски с высеченными на них именами матросов и офицеров. Фотографии этих росписей и досок были опубликованы в „Архитектурно-художественном ежегоднике” — издание Общества архитекторов-художников, СПб, 1911, сс. 69—74. Храм был снесен в 1930-е годы, несмотря на то, что он представлял собой памятник героическим морякам, погибшим во время русско-японской войны. Так погиб изумительный по своим формам храм, прототипом которого, по замыслу архитектора М. М. Перетятковича, был знаменитый Дмитриевский собор XII века во Владимире.

АЛЬБОМ РАЗРУШЕННЫХ И ОСКВЕРНЕННЫХ ХРАМОВ

(Москва и Подмосковье — «Золотое кольцо»)

Художественное оформление. Специальная бумага. Твердый переплет. Большой формат (29 × 21 см). 224 страницы. 250 фотографий храмов до и после разрушения. Большое послесловие неизвестного автора — «Пределы вандализма. К истории российских храмов в XX веке».

Стоимость альбома — 45 нм + 3 нм за пересылку.

***Жертвуйте также на отправку альбома в Россию
(30 нм на экземпляр)***

Заказы и пожертвования направлять непосредственно в Издательство.

POSSEY-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80

Карл ПОППЕР

Незавершенные поиски

*Интеллектуальная автобиография**

ОТ РЕДАКЦИИ:

28-го июля 1982 года одному из крупнейших философов нашего времени Карлу Попперу исполнилось 80 лет. Среди специалистов Поппер известен главным образом своими трудами в области логики и философии науки, однако в более широких кругах хорошо знают и его полемические работы, направленные против догматических социально-философских учений, в частности — против марксизма.

В истории Поппер отрицает детерминизм, в науке — существование абсолютных истин. Правда, всякое новое знание включает в себя большую часть старого, и таким образом все ближе и ближе приближается к истине, без надежды ее когда-либо достичь. Хотя Поппер сам себя причисляет к агностикам, он относится с большим уважением к христианству и признает правомочность религиозного познания, и не только в области этики, но и в размышлениях о первопричинах и смысле бытия. Зато он категорически против вмешательства религиозных авторитетов в область научного творчества. Такое разделение научной и религиозной сферы до некоторой степени роднит его с ранними славянофилами.

На русский язык главные труды Поппера пока еще не переведены, что, однако, не мешает советской научной и партийной прессе критиковать его то за буржуазный позитивизм, то за мракобесие и идеализм. По сути, к мировоззрению Поппера трудно подобрать один из привычных „измов”, хотя на него, безусловно, сильное влияние оказали и фило-

* Karl P o p p e r. Unended Quest. An Intellectual Autobiography. — Fontana/Collins, 1976.

софия Канта, и логический позитивизм, и методологический номинализм.

Незадолго до своего восьмидесятилетия Карл Поппер любезно предоставил нашему журналу возможность опубликовать несколько глав из одной из своих последних работ — философской автобиографии. Для перевода мы выбрали три главы. Первую — рассказ о том, как молодой Поппер стал и перестал быть марксистом. Вторую — посвященную проблемам познания. В этой главе может вызвать возражения употребление слова „догма” в применении к тому, что для многих может показаться близким к понятию „гипотеза”. Нам кажется, что Поппер хотел: во-первых, подчеркнуть применимость этого понятия и к ненаучному познанию, распространяющемуся даже и на животный мир, и во-вторых, показать неиндуктивный характер научных гипотез. Последняя из выбранных нами глав рассматривает этическую проблему существования объективных ценностей в мире фактов. В этой главе Поппер находит для ценностей место в так называемом Мире 3, в созданном человеческим разумом, но объективно существующем мире идей, книг, теорий, разрешенных и неразрешенных проблем.

Согласно разделяемой Поппером схеме, Мир 1 — это вещный миф физических объектов, Мир 2 включает субъективные процессы и опыт, — например, процесс мышления, — но результаты процесса мышления уже вполне объективно существуют в Мире 3. Иными словами, субъективный Мир 2 служит как бы посредником между двумя объективными мирами.

Идеи Карла Поппера находят много сторонников, особенно среди людей, соприкасающихся с точными науками. Со стороны некоторых историков и философов они вызывают немало возражений. Например, теория Томаса Куна о революционном развитии науки путем отчасти иррациональной смены парадигмов и взгляд на науку как на укорененный в своем времени культурный феномен, сильно расходится со взглядами Поппера, близкими к позитивистской теории линейного прогресса научного знания и асимптотического приближения к истине. Однако, если с некоторой натяжкой можно сказать, что позитивисты верят в истину, но не в науку, а Кун и его последователи — в науку, но не в истину, то реалист Поппер, так же, как и большинство ученых-физиков, верит в существование как объективной истины, так и объективных научных фактов. А обоснован-

ные возражения и несогласия он будет только приветствовать, так как ничто не огорчило бы Карла Поппера больше, чем некритическое принятие его идей.

Глава 8. ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД: МАРКСИЗМ; НАУКА И ЛЖЕНАУКА

В последние, страшные годы войны, по всей вероятности в 1917 г., во время продолжительной болезни я вдруг отчетливо понял то, что подспудно ощущал довольно давно: в наших прославленных австрийских средних школах (названных „гимназиями” и *horribile dictu* — „Реальными гимназиями”) мы зачастую попусту тратим время, несмотря на то, что учителя хорошо образованы и искренне стремятся превратить австрийские школы в лучшие в мире. Я привык к продолжавшейся часами, гнетущей скуке уроков. (Благодаря этому я на всю жизнь приобрел иммунитет от скуки. Если в школе я был вынужден следить за уроком, чтобы меня учителя не уличили в невнимательности, то впоследствии, во время уже не уроков, а скучных лекций, я мог спокойно погружаться в собственные мысли.) По-настоящему меня интересовал лишь один предмет — математика, которую преподавал Филипп Фрейд (не знаю, был ли он родственником Зигмунда Фрейда), учитель, умевший увлечь и заинтересовать учеников. Но когда я вернулся в школу после двухмесячной болезни, то с удивлением заметил, что мой класс не продвинулся далеко вперед ни по одному предмету, даже по математике. Это укрепило мое намерение покинуть школу.

В литературе нет недостатка в описаниях распада Австро-Венгерской империи и последствий первой мировой войны: нищеты и недоедания, голодных бунтов в Вене, обесценивания денег. Рухнул мир,

в котором я вырос, и начался долгий период „горячей и холодной” гражданской войны, завершившейся вторжением Гитлера в Австрию. Война закончилась, когда мне было 16 лет, и бурлящее вокруг революционное кипение вдохновило и меня на собственную, личную революцию. В конце 1918 г. я решил уйти из школы и продолжать занятия самостоятельно. Я записался в Венский университет, где вначале числился „нематрикулированным студентом”, так как вступительные экзамены держал лишь в 1922 г. Стипендий тогда не было, но плата за учение была чисто символической и каждый студент имел право посещать любые лекции.

Это было время волнений и переворотов, хотя и не только политических. Когда солдаты стреляли в членов Временного правительства, собравшихся на ступенях парламента для провозглашения Австрийской республики, я находился поблизости и хорошо слышал свист пуль. (Случай этот заставил меня написать статью о свободе.) Есть тогда было нечего и было плохо с одеждой. Мы носили старое воинское обмундирование, перекроенное на гражданский лад. Мало кто думал о карьере, да и служить — кроме, разве, банков — было негде. Но мне даже и в голову не приходило заняться коммерцией. Мы учились ради знаний, а не ради карьеры. Учились и в перерывах с жаром спорили о политике.

В австрийской политической жизни доминировали три партии: социал-демократы; связанная с католической церковью христианско-социальная партия, относившаяся враждебно к социализму; и немецкие националисты, самая малочисленная из трех и впоследствии слившаяся с национал-социалистами. Я вступил в „Социалистическое объединение учеников средних школ” и зачастил на их собрания. Посещал я и митинги студентов-

социалистов в местном университете. На митингах выступали социал-демократы и коммунисты. И те и другие придерживались схожих марксистских взглядов. Естественно, что на этих собраниях мы много внимания уделяли ужасам недавней войны. Коммунисты утверждали, что, заключив Брест-Литовский мир в России, они доказали искренность своего миролюбия. Их главная цель, говорили коммунисты, принести миру мир. По их словам, они были не только против войны, но и вообще против всякого ненужного насилия. Некоторое время я относился скептически к словам коммунистов, но весной 1919 г. вместе с несколькими друзьями я поддался их пропаганде. В течение двух или трех месяцев я всерьез считал себя коммунистом.

Однако разочарование не заставило себя долго ждать. Происшествие, оттолкнувшее меня от коммунизма и одновременно послужившее началом моего отхода от марксизма вообще, стало одним из важнейших событий моей жизни. Это случилось незадолго до того, как мне минуло семнадцать лет. Коммунисты подбили безоружных студентов-демонстрантов помочь бежать членам компартии, находившимся под арестом в Главном управлении венской полиции. Началась стрельба. Несколько демонстрантов было убито. Я был потрясен и возмущен не только жестокостью полиции, но и своей ролью в происшедшем. Я считал, что и марксисты частично виноваты в случившемся. Марксистская теория требует обострения классовой борьбы — с тем, чтобы ускорить приход социализма. Марксистами же был выдвинут тезис, что хотя социалистическая революция потребует некоторых жертв, их количество будет незначительно по сравнению с количеством жертв капитализма.

Такова была марксистская теория, часть так на-

зываемого „научного социализма”. Я стал задавать себе вопрос, могут ли расчеты, подобные приведенному выше, действительно быть „научными”? События тех дней и особенно поставленный мной вопрос заставили меня с отвращением отойти от коммунизма.

Коммунизм — это вера в обещание создать лучший мир. Он претендует на знание законов природы, которые одновременно служат его основой. Я все еще надеялся на лучший мир, мир менее жестокий и более справедливый, но у меня пропала уверенность в правоте моего знания, я задумался — не было ли это знание ложным. Конечно, я читал Маркса и Энгельса, но все ли я правильно понял? Подверг ли я достаточно критическому рассмотрению идею, оправдывающую далекими целями применяемые ею сегодня средства?

Я был потрясен тем, что, отвечая на эти вопросы, я вынужден был признать свое, в прошлом, весьма некритическое отношение к сложнейшей теории. Хуже того, заметив много сомнительного и в теории и в практике коммунизма, я закрывал на это глаза отчасти из лояльности к моим друзьям, отчасти из приверженности к „делу”. К тому же существует некоторый психологический механизм, толкающий человека на ложный путь: люди, поступившиеся или моралью, или честностью по мелкому поводу, не хотят признать свою ошибку, они оправдывают свои поступки тем, что заложенные в деле правда и добро перевешивают те небольшие сделки с совестью, на которые им пришлось пойти. И каждая новая подобная сделка засасывает их все глубже и глубже, и они пытаются возместить принесенную в жертву совесть новыми и новыми „моральными” займами. До какой-то степени это напоминает попытку обменять настоящие деньги на фальшивые.

Когда я понял, что этот механизм завлек и меня, я пришел в ужас. Мне стало ясно, как он засасывает и других, особенно моих друзей-коммунистов. Этот опыт позволил мне впоследствии разобраться во многом, что иначе надолго осталось бы непонятым.

Опасную идею я принял как догму, на веру, не подвергнув ее никакой критике. Вначале я стал скептиком, затем — правда, на короткое время — восстал против всякого рационализма. (Как я установил впоследствии, это очень типичная реакция для всякого разочаровавшегося марксиста.)

Когда мне минуло 17 лет, я стал убежденным антимарксистом. Я понял, насколько эта идея проникнута догматизмом и интеллектуальной самонадеянностью. Страшно приписывать себе такой род знания, который требует рисковать жизнью других людей ради некритически усвоенной догмы или ради мечты, возможно, неосуществимой. Это было особенно недопустимым для интеллигентного человека, умеющего читать и думать. Меня сильно угнетало сознание того, что я попался в эту ловушку. Как только я взглянул на марксизм критически, многие пробелы, увертки и непоследовательности этой теории стали для меня очевидными. Например, учение о насилии, о диктатуре пролетариата: кто пролетариат? Ленин, Троцкий и другие вожди? Коммунисты никогда не были в большинстве. Они даже не представляли большинство фабричных рабочих. В Австрии, во всяком случае, они были незначительным меньшинством, и так, кажется, было повсюду.

Прошло несколько лет прежде чем я обрел уверенность, что понял суть марксистской аргументации. Она заключается в сочетании исторического пророчества с подразумеваемым призывом следовать моральному закону: *Помогите неизбежному!*

Но даже и после этого я не решался опубликовать критику марксизма, так как тогда в Австрии анти-марксистом было быть не модно. Ведь уважаемые всеми социал-демократы были марксистами, а антимарксизм отождествлялся с теми авторитарными движениями, которые впоследствии стали называться фашистскими. Конечно, я разговаривал о переменах в моих взглядах с друзьями. Но только через 16 лет, в 1935 г., я стал писать о марксизме с целью опубликовать написанное. В результате между 1935 и 1943 гг. вышли две книги — „Нищета историцизма” и „Открытое общество и его враги”.

Тем не менее, в то время (это должны были быть 1919 и 1920 гг.) меня возмущала интеллектуальная самонадеянность некоторых моих друзей-марксистов, не сомневавшихся в том, что именно они и есть будущие вожди рабочего класса. Для этого у них не было никаких особых интеллектуальных данных. Они могли лишь претендовать на некоторое знакомство с марксистской литературой, и то весьма поверхностное и, безусловно, некритическое. О жизни рабочих они знали меньше меня. (Я хотя бы во время войны несколько месяцев работал на фабрике.) Такое отношение меня возмутило. Я считал, что возможность учиться была для нас большой, фактически незаслуженной, привилегией, и решил заняться физическим трудом. Одновременно я принял решение не стремиться играть видную роль в партийной политике. И действительно я предпринял несколько попыток стать настоящим рабочим. Первая попытка окончилась неудачно: я не обладал физической силой, необходимой для работы киркой и лопатой на постройке дорог. Последняя попытка — стать столяром — тоже продолжалась недолго. Физически это было посильное заня-

тие, но беда в том, что меня слишком интересовали умозрительные размышления, мешавшие моей столлярной работе.

Пожалуй, здесь будет уместно сказать, с каким большим уважением я относился к рабочим в Вене и к их великому социал-демократическому движению, хотя и считал исповедуемый их вождями марксистский историцизм в корне ошибочным. Эти вожди сумели вдохновить массы верой в миссию рабочего класса, которая была не больше и не меньше чем освобождение всего человечества. Несмотря на то, что большинство социал-демократов были атеистами (хотя и существовала небольшая, но достойная группа людей, называвших себя верующими в Бога социалистами), — то, что вдохновляло движение в целом, можно смело назвать горячей религиозной и гуманистической верой. Это было движение рабочих, стремящихся к самообразованию, с тем чтобы выполнить свою „историческую миссию”, людей, рвущихся к свободе, с тем чтобы освободить все человечество, а главное — положить конец войне. Свое скудное свободное время многие рабочие, молодые и старые, посвящали учению на вечерних курсах или в одном из „Народных университетов”...

...В течение нескольких лет после того, как я отверг марксизм, я оставался социалистом, и если бы существовала возможность сочетать социализм с сохранением свободы личности, я бы не отошел от него и по сей день. Трудно себе представить что-либо лучшее, чем возможность вести простую, скромную и свободную жизнь в эгалитарном обществе. Прошло некоторое время прежде чем я понял, что это всего лишь красивая мечта, что свобода важнее равенства, что всякая попытка насадить равенство угрожает свободе, и что если свобо-

да утрачена, то и равенства среди несвободных не будет.

В ходе моего интеллектуального развития знакомство с марксизмом было одним из главных событий. Я никогда не забывал преподанных им уроков. Я оценил мудрость слов Сократа: „Я знаю, что ничего не знаю”. Я стал сомневаться в своей правоте и понял достоинство интеллектуальной скромности. И я гораздо лучше осознал разницу между догматическим и критическим мышлением. По сравнению с этим — схожее развитие моего знакомства с „индивидуальной психологией” Альфреда Адлера и психоанализом Фрейда, хотя и произошло примерно в то же самое время (то есть в 1919 г.), оставило гораздо меньший след.

Оглядываясь назад, я поражаюсь, как много может произойти в интеллектуальном развитии человека за столь короткий срок. Ибо в то же самое время я услышал об Эйнштейне и это сильно повлияло на мои взгляды — возможно, что в конце концов это влияние оказалось наиболее значительным. В мае 1929 г. предсказания Эйнштейна относительно затмения светил были экспериментально подтверждены двумя английскими экспедициями. Новая теория всемирного тяготения и новая космология, благодаря успеху этих опытов, стали не только возможным, но и действительным улучшением теории Ньютона, иными словами — еще более приблизились к истине.

В Вене я попал на лекцию Эйнштейна, глубоко меня потрясшую, хотя ее содержание и превышало уровень моих тогдашних знаний. Я был воспитан в традиции, считавшей бесспорными Ньютонову механику и электродинамику Максвелла. Даже Мах, в своей книге „Наука механики”, где он критиковал теорию Ньютона об абсолютном пространстве

и абсолютном времени, сохранил нетронутыми законы Ньютона, включая закон инерции, которому он придал новое и интересное толкование. Несмотря на то, что он считался с возможностью существования не-ньютоновской физики, Мах думал, что прежде чем мы будем в состоянии такую теорию сформулировать, мы должны дождаться новых опытных данных, которые, по всей вероятности, будут получены, благодаря астрономическим и физическим исследованиям далеких частей пространства, где, возможно, встречаются более сложные перемещения и движение с более высокими скоростями, чем наблюдаемые в нашей солнечной системе. Неимоверный успех теории Ньютона, достигший своего апогея в открытии планеты Нептун, укрепил всеобщую уверенность в ее правильности. Этот успех произвел столь глубокое впечатление, благодаря тому, что теория Ньютона неоднократно сама исправляла те самые эмпирические данные, которые вызывали трудности для объяснения. И все же Эйнштейн сумел разработать настоящую альтернативу и, как казалось, лучшую теорию, не дожидаясь новых опытных данных. Подобно Ньютону, он предсказал новые явления и в нашей солнечной системе, и за ее пределами. И многие из этих предсказаний, когда их удалось проверить, подтвердились.

На мое счастье, впервые меня познакомил с этими идеями блестящий молодой математик и мой хороший друг Макс Эльштейн, безвременно скончавшийся в 1922 г. в возрасте 21 года. В отличие от Эйнштейна, он не был позитивистом и поэтому подчеркивал объективные стороны теории относительности: подход к явлениям с точки зрения теоретических полей, новая связь электродинамики с механикой, чудесная идея новой космологии — ко-

нечная, но не ограниченная вселенная. Он обратил мое внимание и на то, что Эйнштейн, несмотря на уверенность, что его теория ближе к истине, чем теория Ньютона, рассматривал свою теорию лишь как еще один шаг к созданию более общей теории, а Герман Вейль в 1918 г., еще до наблюдения затмений, выпустил книгу, в которой предложил более общую и исчерпывающую теорию, чем теория Эйнштейна.

Несомненно, Эйнштейн имел в виду все вышесказанное, и особенно свою собственную теорию, когда он по другому поводу написал: „Не может быть лучшей участи для физической теории, как указать путь к более исчерпывающей теории, в которой она будет продолжать существование в виде предельного случая”. Но наибольшее впечатление произвели на меня ясные слова Эйнштейна о том, что он сочтет свою теорию ложной, если она не выдержит определённых испытаний. Так, к примеру, он написал: „Если окажется, что красного смещения спектральных линий (в сторону более длинных волн) под воздействием гравитационного потенциала не существует, то общая теория относительности станет неприемлемой”.

Здесь мы сталкиваемся со складом ума, отличным от догматического мышления Маркса, Фрейда и Адлера и особенно от догматизма их последователей. Эйнштейн искал решающих (критических) опытов, совпадение результатов которых с его теорией отнюдь не утвердило бы ее правильность, но несовпадение безоговорочно опровергло бы ее.

Это я воспринял тогда как подлинно научный подход. Он радикально отличался от догматического подхода, целью которого было лишь найти „подтверждение” своим любимым идеям.

Таким образом к концу 1919 г. я пришел к за-

ключению, что научный подход есть подход критический, ищущий не доказательств, а решающих опытов, которые могли бы опровергнуть испытуемую теорию, но которые никогда не в силах ее „доказать”.

Глава 10. ОТКЛОНЕНИЕ ВТОРОЕ: ДОГМАТИЧЕСКОЕ И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ПОЗНАНИЕ БЕЗ ИНДУКЦИИ

Известный автор и исследователь психологии животных Конрад Лоренц разработал замечательную теорию, названную им „запечатлением”. Согласно этой теории, молодые животные обладают врожденным механизмом, заставляющим их без колебания принимать некоторые решения. Например, для свежевылупившегося из яйца гусенка первый попавшийся ему на глаза движущийся предмет становится матерью. Хорошо приспособленный для нормальных условий, этот механизм в некоторых случаях может оказаться жизнеопасным для гусенка. (Как испытал Лоренц на собственном опыте, роль приемных родителей тоже не лишена риска.) Однако обычно этот механизм действует вполне успешно, даже иногда и при ненормальных условиях.

В теории Лоренца особенно важно отметить следующие пункты:

1. Запечатление — это процесс (отнюдь не единственный) познания путем наблюдений.

2. Наблюдение толкает к решению врожденных задач — иными словами, гусенок генетически запрограммирован искать мать, он надеется ее увидеть.

3. Теории и надежды (предвосхищения), необ-

ходимые для решения задачи, тоже до какой-то степени врождены, то есть обусловлены наследственностью. Процесс познания далеко выходит за рамки непосредственного наблюдения — последнее всего лишь вызывает к жизни теорию, в значительной степени уже сформировавшуюся внутри организма.

4. Подобный процесс познания *неповторим*, хотя он и занимает сравнительно короткий срок и требует некоторого усилия со стороны самого организма. Поэтому он может протекать в ситуации, отличной — но не слишком — от обычной ситуации. Я бы назвал подобные неповторимые процессы познания неиндуктивными, считая повторимость признаком „индукции”. (Теорию неповторимого познания можно назвать дарвинистской или селекционной, в то время как теорию индуктивного или повторимого познания можно считать обучением с помощью инструкций, и она больше соответствует теории Ламарка.) Конечно, это тесно связано с терминологией, и если кто-либо будет настаивать на термине „индукция” для обозначения процесса запечатления, я готов изменить мою терминологию.

5. Роль наблюдения подобна повороту ключа в замке, — она очень важна, но весьма сложный результат заранее предопределен.

6. Запечатление — необратимый процесс познания. Оно не подлежит ни пересмотру, ни исправлениям.

Само собой разумеется, что в 1922 году я не мог ничего знать о теории Лоренца; правда, в детстве я с ним встречался в Альтенберге, где жили наши общие друзья. Просто теперь я решил воспользоваться теорией запечатления для пояснения моих тогдашних мыслей, которые во многом совпадали с теорией Лоренца, но кое-чем от нее отличались. В част-

ности, мои предположения не касались животных (хотя на меня влияли Ц. Ллойд Морган и еще в большей степени Х. С. Дженнингс). Они относились непосредственно к людям, особенно к маленьким детям. Их можно сформулировать примерно так:

Многие, если не все, процессы познания состоят из создания теорий, то есть из формирования предвосхищений. В создание всякой теории или предположения обязательно входит догматическая фаза, за которой часто следует фаза критическая. Догматическая фаза совпадает с „запечатлением” Лоренца во 2, 3 и 4, иногда в 1 и 5-м из перечисленных выше пунктов, но обычно не в 6-м. Критическая фаза состоит из отказа от догматической теории под давлением опровержений и несбывшихся надежд и из проверки новых теоретических догм. Порой я замечал, что некоторые догмы укоренились столь крепко, что никакие разочарования не могут их пошатнуть. В этих случаях, причем именно только в этих случаях, формирование догматической теории полностью, включая шестой пункт из перечисленных выше особенностей, приближается к процессу запечатления Лоренца. Однако в те времена я был склонен рассматривать упорную приверженность к догме как некое нервное помрачение ума (хотя неврозы как таковые меня не интересовали — я старался разобраться в психологии новых открытий). Мое тогдашнее отношение к тому, что фактически совпадает с 6-м пунктом Лоренца, указывает на отличие моих мыслей от теории запечатления, хотя они и были родственны последней.

Такой метод формирования теории я считал методом познания путем проб и ошибок. Но когда я называю формирование теоретической догмы „пробой”, я отнюдь не подразумеваю неупорядоченную, случайную пробу.

Здесь стоит остановиться на проблеме произвольного (случайного) отбора в применении к методике проб и ошибок. Рассмотрим простой арифметический пример: деление на число (напр., 74856), для которого мы не знаем таблицы умножения, обычно проводится путем проб и ошибок, но это не значит, что пробы случайны и проводятся наугад, так как мы хорошо знаем таблицу умножения на 7 и на 8. Конечно, мы можем запрограммировать ЭВМ выбирать наугад одну из цифр от 0 до 9 и, в случае ошибки, отбросив неудачно выбранную цифру, выбирать из оставшихся девяти. Но это значительно уступает систематическому подходу, при котором мы хотя бы можем заставить ЭВМ учитывать характер ошибки, — то есть была выбранная цифра слишком велика или слишком мала. Такой подход значительно уменьшит количество цифр, остающихся для выбора после каждой пробы.

В данном случае идея случайного (произвольного) выбора в принципе применима, так как выбор на каждом шагу деления происходит из строго ограниченного множества возможностей (числа цифр). Но в биологии, при познании путем проб и ошибок, в большинстве случаев ни количество, ни диапазон возможных реакций (обычно движений разной степени сложности) заранее предусмотрены быть не могут. И поскольку мы не знаем отдельных элементов данного множества, мы не в состоянии вычислить и их вероятности, что мы должны были бы суметь сделать при подлинно случайном отборе.

Поэтому мы должны отказаться от предположения, что метод проб и ошибок пользуется случайными пробами. Правда, искусственно мы можем создать условия (например, лабиринт для крыс), при которых понятие случайного отбора проб будет вполне применимо. Но если даже само понятие при-

менимо, это вовсе не значит, что отбор проб действительно производится случайно. При сложном делении мы можем запрограммировать более систематический подход к выбору цифр, а крыса, мечущаяся по лабиринту, в поисках выхода, возможно, тоже пользуется принципами, не совпадающими с полной случайностью выбора.

С другой стороны, в любом случае, когда метод проб и ошибок используется для решения задач приспособления к новой среде (например, крыса в лабиринте) или похожей проблемы, как правило, пробы не предопределены, или, вернее, не полностью предопределены самой задачей. За исключением счастливых случайностей, они не предусматривают (пока неизвестного) решения. Мы можем повторить вслед за Д. Т. Кэмбеллом: „...пробы должны быть слепы”. (Я, пожалуй, предпочел бы сказать, что пробы должны быть „слепы к решению задачи”). Не самой пробой, но лишь пользуясь критическим методом устранения ошибок, уже *после* пробы — кстати, соответствующей формированию догмы — мы находим, была ли догадка правильной, иными словами, пригодной для решения задачи и пока не подлежащей устранению.

Несмотря на все сказанное, пробы далеко не всегда полностью слепы к требованиям задачи. Задача нередко определяет диапазон выбора проб, — например, количество цифр в сложном делении. Это хорошо сформулировал Давид Катц: „Голодный зверь делит окружающие его предметы на съедобные и несъедобные. Преследуемое животное видит прежде всего укрытия и пути, открытые к бегству”. Кроме того, с каждой последующей пробой задача несколько меняется, сужается диапазон выбора дальнейших проб. Но есть и другие случаи, особенно на биологическом уровне человека, когда

все именно зависит от способности вырваться за пределы произвольно принятых ограничений. Эти случаи показывают, что определение области для выбора проб само по себе тоже является пробой (бессознательным предположением). Возможно, что в критическое мышление входит не только устранение ошибок, но и пересмотр более глубоких предположений, связанных с утверждением области и диапазона для выбора самих проб. Я думаю, что это как раз и случается в ходе наиболее плодотворного творческого мышления.

Мне кажется, что творческое мышление отличается, помимо силы желания решить определенную задачу, именно способностью вырваться за пределы области, из которой менее творческий мыслитель производит выбор проб для своих попыток разрешить ту или иную задачу. Эта способность, совершенно очевидно критическая, может быть названа *критическим воображением*. Часто она возникает в результате столкновения культур или столкновения систем идей. Такие столкновения помогают нам покинуть границы нашего привычного воображения.

Я сознаю, что мои замечания вряд ли удовлетворят тех, кто ищет психологическое объяснение творческого мышления и особенно научных открытий. Ибо эти люди ищут ключик к теории успеха, а не объяснение процесса творчества.

Я же думаю, что невозможно создать теорию мышления, неизбежно приводящую к успеху, и подобная теория отнюдь не совпадает с теорией творческого мышления. Успех зависит от многих вещей, — например, от удачи, от случайного выбора самой проблемы, от того, как распределено время между собственными изысканиями и изучением работы других, иногда даже от продолжения рабо-

ты, когда, казалось бы, потеряна всякая надежда на успех.

Мне кажется, что для достижения „творческого” или „изобретательного” мышления нужно сочетать сильное желание решить задачу (и отсюда — готовность к множеству безуспешных попыток) с

— высокоразвитой способностью к критическому мышлению;

— готовностью пересмотреть даже те предположения, которые — для ума менее критического — определяют пределы области, служащей источником для отбора проб и догадок;

— свободным полетом мысли, облегчающим преодоление предвзятости и предубеждения и видение — критическим оком — ошибок, там, где их меньше всего подозревают.

(По моему мнению, большинство трудов по психологии творческого мышления или довольно бессодержательно, или в них больше логики, чем психологии. Ибо критическое мышление или процесс устранения ошибок могут быть лучше объяснены языком логики, чем языком психологии.)

Отдельная *задача* вырастает из врожденных *потребностей*, в результате чего происходит очередная „проба” или возникает новое „предвосхищение” либо заново сформулированная „догма”. Немалую роль играет врожденная потребность создавать надежды (в определенных областях, связанных, в свою очередь, с другими потребностями) и разочарование в несбывшихся ожиданиях. Я совсем не отрицаю роль личной изобретательности в отборе проб и в формировании догм, но считаю, что именно в *критическом процессе устранения ошибок* изобретательность и творческая фантазия играют главную роль. Большинство значительных теорий, составляющих сокровищницу человеческой мысли,

выросло на почве критики и ранее существовавших догм.

При изучении формирования догм мне стало ясным, что дети, особенно маленькие дети, остро нуждаются в легко познаваемом порядке окружающей их среды. У детей — врожденная потребность не только в пище и в любви родителей, но и в постоянстве знакомых структурных слагаемых окружающей среды („вещи” служат примером таких слагаемых), так же, как и в постоянном осуществлении бесхитростных детских чаяний, иными словами — потребность в устоявшейся рутине. Джейн Остен хорошо описала этот инфантильный догматизм: „Генри и Джон по-прежнему каждый вечер просили рассказать им о „Гарриете и цыганах” и по-прежнему так же упорно поправляли (Эмму) ...если она хоть в мельчайшей подробности уклонялась от первоначальной версии сказки”. Более старшие дети уже чаще испытывают удовольствие от перемены рутины, но и то в ограниченной сфере деятельности. Игры могут служить тому примером, и научиться правилам детской игры, лишь наблюдая за ней, — очень трудно .

Рассуждая таким образом, я понял, что догматический способ мышления сложился благодаря врожденной потребности упорядоченного окружения и врожденной же способности совершать открытия. Эта последняя способность заставляет нас искать пути познания порядка. И я пришел к выводу, что если мы слишком много рассуждаем о „среде и наследственности”, то мы склонны недооценивать роль наследственности. А ведь именно она предопределяет, какие аспекты объективной среды (экологической ниши) принадлежат или не принадлежат к субъективному, или биологически важному, окружению животного.

Я стал различать три главных вида познавательного процесса, из которых первый является основным:

1. Познание в смысле открытия: догматическое формирование теории или предвосхищения либо раскрытие регулярности в поведении, все это проверенное критическим устранением ошибок.

2. Познание подражанием. Можно показать, что это частный случай 1.

3. Обучение путем „повторения” или „практики”. Примером может служить обучение езде на автомобиле или игре на музыкальном инструменте. Однако здесь я считаю, что а) подлинного „повторения” нет, но есть, вернее, б) изменение путем исправления ошибок (после формирования теории) и в) процесс автоматизации некоторых реакций и сопряженных с ними действий, в результате которого они начинают протекать сами собой, без затраты волевого внимания и на чисто физиологическом уровне.

Врожденная потребность к раскрытию порядка и усвоению правил хорошо видна на примере ребенка, который учится говорить. Это, безусловно, одна из разновидностей обучения подражанием, и поразительно то, что в этом весьма раннем процессе, процесс проб и ошибок и критическое устранение ошибок играют чрезвычайно важную роль. Сила внутренних предрасположений и потребность развивать способности к общению особенно ярко выражена у детей, лишенных из-за глухоты возможности нормально участвовать в разговорах. Еще более убедительны примеры детей, лишившихся одновременно и слуха и зрения, таких, как Лаура Бриджман или Элен Келлер. (О последней я, кстати, узнал совсем недавно.) Бесспорно, даже и здесь имело место подражание — у Элен Келлер, к примеру, пу-

тем общения осязанием с учительницей. Но эти подражания не были обычными, так как то, что чертила учительница на ладони Элен Келлер, сильно отличалось от звуков, которые нормальный ребенок слышит в течение долгого времени. В конце концов на разговорную функцию звуков можно научить откликаться даже собаку.

Большое различие языков разных народов указывает на несомненную роль среды при их формировании. Более того, усвоение ребенком навыков речи почти полностью происходит путем подражания. Однако при внимательном изучении биологических аспектов языка становится очевидным значение наследственности. Правда, я вполне согласен со словами Джозефа Чэрча: „Хотя многие существенные перемены, происходящие в раннем детстве, могут быть объяснены физическим созреванием организма, мы знаем, что развитие ребенка вообще тесно взаимосвязано с опытом, с тем, что он чувствует, что он делает и что делают с ним. Я не хочу умалять роль физического созревания, я только настаиваю на том, что нельзя сводить созревание к простому цветению предначертанных биологических свойств”. Но, в отличие от Чэрча, я считаю, что обусловленный наследственностью процесс созревания гораздо сложнее и оказывает большее влияние, чем посылаемые внешней средой сигналы и опыт их восприятия. Хотя какое-то минимальное количество этих сигналов необходимо для стимуляции расцвета определенных свойств на отдельных ступенях развития. В том, что Элен Келлер усвоила начертание слова „вода” как нечто, определяющее хорошо знакомое ей на ощупь вещество, есть некоторое сходство с процессом запечатления, но есть и много отличного. Сходство — в неизгладимом впечатлении случившегося, в том, как единичный опыт

позволил вырваться наружу подспудным склонностям и потребностям. Отличие — в количестве открывшихся возможностей, которые в конце концов позволили ей овладеть языком.

В свете сказанного, я не считаю уместным замечание Чэрча: „Младенец начинает ходить не потому что пришла пора расцвета именно этой способности, но благодаря тому, что он достиг такого уровня ориентации в пространстве, при котором ходьба становится одним из возможных действий”. Я думаю, что Элен Келлер почти не обладала ориентацией в языковом пространстве до того, как она догадалась, что определенный способ прикосновения пальцев учительницы к ее ладони означает слово (понятие) „вода”, и до того, когда она вследствие этого открытия пришла к выводу, что определенные прикосновения могут что-то значить и к чему-то относиться. В ее случае изначально присутствовали предрасположение и потребность истолковывать сигналы вместе с готовностью и потребностью научиться использовать эти сигналы путем подражания или метода проб и ошибок (пользуясь неслучайным, систематизированным отбором проб и критическим исправлением ошибок в правописании).

В этой сфере, по-видимому, существуют весьма сложные и разнообразные предрасположения, взаимно дополняющие друг друга: предрасположения любить, сочувствовать, подражать движениям, проверять и исправлять заимствованные движения; предрасположение пользоваться этими движениями и с их помощью общаться; предрасположение использовать язык для получения предостережений, упреков, просьб, распоряжений; наконец, предрасположение составлять и истолковывать описательные предложения. В отличие от нормальных детей,

Элен Келлер большую часть информации об окружающей среде получала при помощи начертанного языка. В результате — в течение некоторого времени она не могла отличать слухи от действительно случившегося и даже от своей собственной фантазии, так как все это поступало в ее внутреннее восприятие посредством той же самой символической азбуки.

На примере языка я убедился в том, что моя первоначальная схема последовательной смены догматической фазы фазой критической была некоторым упрощением. При овладении ребенком языковыми навыками ясное поначалу, врожденное предрасположение к поправкам (то есть к гибкости, к критическому устранению ошибок) постепенно сходит на нет. Если ребенок, научившийся говорить во множественном числе „мыши”, вдруг скажет „воши”, то здесь налицо стремление найти грамматическое правило. Ребенок скоро исправит ошибку и начнет говорить „вши”, — по всей вероятности, не без помощи взрослых. Но при изучении языка наступает стадия, когда гибкость языковой структуры утрачивается, по-видимому под влиянием „автоматизации”, рассмотренной выше в 3 (в) .

Я использовал процесс изучения языка всего лишь для иллюстрации моей мысли о том, что подражание — по сути, частный случай метода проб и ошибок. Этот процесс служит также примером взаимодействия фаз догматического формирования теории, или возникновения предвосхищений и надежд, или формирования упорядоченности в поведении, с фазой критической.

И хотя, как уже сказано выше, теория последовательной смены догматической фазы фазой критической слишком примитивна, несомненно, что *критическая фаза не может существовать без*

предшествующей ей догматической фазы, благодаря которой возникает, например, предвосхищение или систематизация поведения, которые могут стать объектом процесса устранения (исправления) ошибок.

Эта точка зрения заставила меня отказаться от психологической теории познания посредством индукции, теории, поддерживаемой Юмом даже после того, как он, из логических соображений, вынужден был отвергнуть индукцию как таковую. Я не хочу здесь повторять уже сказанного мной в книге „О догадках и опровержениях” по поводу взглядов Юма на формирование привычек. Эти же взгляды привели меня к заключению, что непредвзятых наблюдений не бывает. Все наблюдения преследуют какую-либо цель (обычно цель эта — постичь или проверить систему или правила, *хотя бы* смутно подразумеваемые); причем при наблюдениях мы руководствуемся возникающими задачами и заложенными в нас предвосхищениями (тем, что я позже назвал „горизонтом ожиданий”). Не бывает ни пассивных переживаний и опыта, ни пассивного восприятия взаимосвязи запечатленных идей. Опыт приобретают в результате исследовательской деятельности организма, направленной на поиски порядка и постоянства. Восприятие (перцепция) немислимо в отрыве от интереса и предвосхищения (надежд) и отсюда — вне контекста порядка или правил.

Все это привело меня к выводу, что догадка, или гипотеза, должна предшествовать наблюдению или восприятию: мы обладаем врожденными предвосхищениями (надеждами, ожиданиями); мы обладаем врожденным знанием, скрытым в подспудных предвосхищениях, пробуждаемых стимулами, возникающими во время нашей исследовательской

деятельности. Всякое познание состоит из пересмотра прежних, уже существующих знаний (этот пересмотр может быть опровержением) и таким образом в конечном счете сводится к изменению неких врожденных знаний.

Это и была та психологическая теория, которую я неумело и косноязычно пытался разработать между 1921 и 1926 гг. Она же, в бытность мою учеником у столяра-краснодеревца, отвлекала меня от моих непосредственных занятий.

Теперь следует отметить одно необычное явление в моем интеллектуальном развитии того времени. Хотя я был и тогда заинтересован в противопоставлении догматического и критического мышления, и рассматривал догматическое мышление как преднаучное (а там, где оно претендует на научность, как „ненаучное”), и хотя я видел роль критерия фальсификации в разграничении науки и псевдонауки, я не ощущал тогда связи между всем этим и проблемой индукции. Годами эти две проблемы занимали различные, — казалось, непроницаемые — отсеки моего разума, хотя я считал проблему индукции разрешенной, моим простым открытием того, что не существует индукция повторением (так же, как невозможно познание чего-либо нового путем чистого повторения). Отсюда следовало, что так называемый индуктивный научный метод нужно заменить методом проб (догматических) и исправлением (критическим) ошибок. Именно этим методом совершались открытия всеми биологическими организмами, начиная от амебы и кончая Эйнштейном.

Конечно, я сознавал, что в основе моего решения обеих проблем — проблемы демаркации науки и псевдонауки и проблемы индукции — лежит одна и та же идея: отделение догматического от крити-

ческого мышления. Несмотря на это, обе проблемы представлялись мне отличными; демаркация, казалось, не имела ничего общего с учением Дарвина о естественном отборе. Только через много лет я понял, что существует тесная связь и что проблема индукции по сути возникла из ошибочного решения проблемы демаркации, возникла из ложной веры в то, что превосходство науки над псевдонаукой покоится на „научном методе”, методе индукции, позволяющем постигать знание истинное, надежное и обоснованное. Вера эта, увы, во многом была ошибочна.

Из главы 40. ЦЕННОСТИ В МИРЕ ФАКТОВ

Название этой главы позаимствовано из названия книги Вольфганга Кёлера, крупного психолога и большого человека. В начале этой книги Кёлер настолько хорошо поставил проблему места ценностей в мире фактов, что его формулировка не может оставить равнодушными даже тех читателей, которые не были его современниками и не разделяли его переживания. Несмотря на это, я был разочарован предложенным Кёлером решением. Я не нашел ответа на вопрос, какое место ценности занимают в мире фактов, и где, и как они в этот мир входят. Для меня был неубедителен тезис Кёлера, что Структурная психология существенно приближает нас к разрешению этой проблемы. Правда, Кёлер хорошо показал, почему столь немногие ученые и философы, знакомые с естественными науками, решаются затрагивать вопросы ценностей. Дело в том, что о ценностях написано много чепухи. И многие из нас боятся ее повторять. Эти опасения я полностью разделяю, несмотря на призывы Кёлера

дерзать и не бояться риска. Если исключить Нагорную проповедь, то я не могу припомнить, чтобы в области теории этики, несмотря на необъятность прочитанного, я читал бы что-либо действительно значительное, кроме, разве, Платона — „Апологии Сократа” (в которой теория этики играет второстепенную роль), некоторых трудов Канта, главным образом его „Основ Метафизики морали” (большим успехом не пользовавшейся), и элегических куплетов Шиллера, остроумно критикующих ригоризм Канта. К этому списку, подумав, я могу добавить еще „Две основные проблемы этики”, Шопенгауэра. Однако ни одно из названных произведений, за исключением платоновской „Апологии...” и прелестных куплетов Шиллера, поставленной автором цели не достигло.

Поэтому ограничусь следующим предположением: ценности возникают вместе с проблемами, и ни ценности, ни проблемы не могут целиком быть выведены из фактов, хотя и те и другие имеют к фактам прямое отношение и тесно с ними связаны. Что касается проблем, то наблюдая какого-либо человека (или животное, или растение), мы догадываемся, что он (или оно) пытается решить какую-то проблему, часто даже не подозревая о ее существовании. Проблема так же может быть обнаружена и поставлена критически или объективно — в связи с существованием или попыткой разрешения другой проблемы. В первом случае только лишь родившееся по ходу наблюдений предположение о существовании проблемы принадлежит миру 3, во втором случае и сама проблема целиком обитает в этом объективном мире, порожденном нашим субъективным мышлением. Подобное же происходит и с ценностями. Мы можем предполагать, что вещь, или идея, или теория, или метод ценны тем,

что они помогают решить ту или иную проблему или сами становятся ее решением, независимо от того, насколько их ценность осознана самим существом, решающим проблему. Как только наше предположение о ценности сформулировано и вынесено на обсуждение, оно становится достоянием мира 3. В другом случае ценность может быть раскрыта и подвергнута дискуссии в связи с ее отношением к другим ценностям и к другим проблемам. В этом случае она тоже входит в мир 3.

Поэтому, если правильно наше предположение о существовании в прошлом безжизненного мира, то этот мир был бы миром без проблем и, следовательно, миром, лишенным ценностей. Многие говорят, что ценности пришли в мир вместе с сознанием. Я не согласен с этой точкой зрения. На мой взгляд, ценности возникают в мире вместе с жизнью; если существует бессознательная жизнь (что я считаю вполне допустимым даже у людей и у животных, бывают же, как будто, сны без сновидений), то могут существовать и объективные ценности — без того, чтобы быть непременно осознанными.

Следовательно, ценности можно подразделить на два вида: ценности, созданные самой жизнью при бессознательном решении проблем, и ценности, созданные человеческим разумом, вытекающие из предыдущих решений и рожденные попытками разрешить проблемы, нами более или менее осознанные.

Здесь-то я и вижу место, уготовленное для ценностей в мире фактов. В мире 3 это место, занятое традициями и проблемами, возникшими по ходу истории, и это, несомненно, часть мира фактов, хотя и не фактов из мира 1, но фактов, созданных человеческим разумом. Мир ценностей возвышается над миром жестоких фактов мира 1.

В самом центре мира 3 я вижу ядро, состоящее из проблем, теорий и критики. Хотя ценности и не входят в это ядро, оно фактически подчинено ценностям — *ценностям объективной правды и ее количественного и качественного роста*. В каком-то смысле мы вправе сказать, что в интеллектуальном мире 3 эти ценности остаются наивысшими, хотя в сам мир 3 мы должны допустить и другие ценности. Ибо с выдвижением каждой ценности возникает вопрос: а *правда ли*, что это действительно ценность? И насколько правильное место отведено ей в иерархии ценностей, правда ли, что доброта стоит выше справедливости или даже сравнима с последней? (Поэтому я восстаю на тех, кто боится правды и считает грехом вкушать плоды древа познания.)

Мы сделали понятие человеческого мира 3 более общим, включив в него не только наши рассудочные построения вместе с их непредвиденными последствиями, но также и результаты нашей разумной деятельности в более широком смысле слова, — например, плоды нашего воображения. Даже столь явные плоды рассудка, как наши научные теории, возникли на почве критики плодов нашего воображения, мифов, а критика была бы невысказанной, если бы мы не научились отличать факт от фантазии, правду от лжи. Поэтому ни мифы, ни выдумки не должны быть исключены из мира 3. Это приводит нас к необходимости включить в мир 3 и искусство, и вообще все, созданное человеком, в чем присутствуют какие-либо идеи, которые могут быть подвержены критике (в более широком смысле, чем подразумевается в просто рассудочном критицизме). Мы сами тоже входим в мир 3, так как мы воспринимаем и критикуем теории и мысли предыдущих поколений и пытаемся создать

новые; входят в этот мир наши дети и ученики, наши традиции и учреждения, наш образ жизни, наши цели и намерения.

Крупная ошибка современной философии таится в нежелании увидеть, что все эти созданные нами предметы обладают и объективной стороной, хотя они и порождены нашим разумом и вытекают из нашего субъективного опыта. Один образ жизни может быть несовместим с другим точно так же, как из-за логических противоречий могут быть несовместимы две научных теории. Несовместимость эта присутствует вполне объективно, независимо от того, сознаем мы это или нет. Таким образом, не только наши теории, но и наши намерения и цели могут друг с другом соревноваться и мы можем их критически обсуждать и сравнивать.

Однако при субъективном подходе к делу, особенно в области субъективной теории познания, мы обращаемся с предметами мира 3 (даже в суженном понятии, то есть с проблемами, теориями и критическими аргументами) так, как будто бы они всего лишь высказывания или выражения чувств знающего субъекта. Такой подход очень близок к теории искусства экспрессионистов. При нем мир человека превращается в отражение его внутреннего состояния, а самовыражение становится самоцелью.

Со своей стороны, я пытаюсь заменить другим этот взгляд на взаимоотношения человека и его деятельности. Не отрицая, что мир 3 создан нами, я вместе с тем подчеркиваю его значительную автономность и неизмеримое влияние, оказываемое им на нас самих. Наш разум, наша личность немислимы без него, они прикованы к миру 3. Благодаря общению с этим миром, мы стали разумны и обрели способность к критике и самокритике. Ему мы обязаны нашим духовным ростом, нашим отноше-

нием к работе, тем отзвуком, который находят в нас плоды нашей деятельности.

Экспрессионисты считают, что заложенные в нас таланты и способности и — до какой-то степени — полученное нами воспитание (таким образом, вся „совокупность нашей личности”) целиком определяют наши действия. Результаты могут быть хорошими или плохими, в зависимости от того, насколько мы сами интересны и талантливы.

В противовес этому я предполагаю, что все зависит от того, что мы готовы внести в мир 3 и что мы хотим из него почерпнуть. Зависит от нашего отношения к работе, к возникающим проблемам, от обратной связи с нашим миром 3, связи, усиленной критикой наших трудов и взаимодействием наших поступков с их объективными последствиями. Найдя пути к объективному исследованию собственной деятельности, к ее критике и усовершенствованию, мы обретаем силу, дающую нам возможность превзойти свои способности и самих себя.

Наши дети, наши теории, любые плоды наших трудов в конце концов начинают жить независимой от их создателя жизнью. Часто и от детей, и от наших теорий мы можем получить больше, чем сами туда вложили. Этим путем обогащения знаний мы выбираемся из трясины невежества и вносим наш собственный вклад в мир 3.

И если я вправе предполагать, что мы развиваемся и находим себя лишь в общении с миром 3, то тогда всех нас должна радовать возможность внести хотя бы небольшую лепту в этот мир, особенно же это должно радовать тех из нас, кто, работая с идеями, получает гораздо большее удовольствие, чем он того заслуживает.

Сегодняшний день экономической системы хозяйства в СССР

I

Кризис в СССР, выражающийся в катастрофической нехватке продуктов широкого потребления, вынуждает правительство проводить реформы, которые способствовали бы улучшению экономической и социальной ситуации в стране. На этот раз наблюдается некоторый сдвиг в традиционном подходе советской власти к этой реорганизационной деятельности. На „высоком уровне” появился интерес к научно обоснованной организации и управлению народным хозяйством. Подобная организация должна обеспечивать руководство со стороны правительства и контроль всей системы хозяйства от регионального до общесоюзного. Обычно повышение цен свидетельствует о неблагополучии в экономике. Но в Союзе цена назначается директивными органами в лице Госплана СССР и не отражает реальной стоимости продукции. Поэтому кризис не был своевременно замечен, и цена не могла быть первым его сигналом. Развал хозяйства наступил как бы вдруг, неожиданно, и выразился в исчезновении с рынка продукции, необходимой для нормальной жизни населения. При этом следует

помнить, что это самое население Союза содержит всю властвующую бюрократическую иерархию. По традиции, такое состояние хозяйства долгое время скрывали всеми возможными способами: недостоверной статистикой, демагогическими заверениями и посулами, обвинением невинных. Наконец, правительству пришлось признать, что необходимо приступить к реорганизации чрезвычайно непроизводительной системы хозяйства.

Первой из реформ явились мероприятия по структурному изменению общей организации промышленности и обслуживающей ее заводской, отраслевой и фундаментальной науки. Статистические данные показывают, что сроки внедрения и освоения производством новой продукции и модернизации старой слишком продолжительны. В таких областях промышленности, как тяжелое машиностроение (станкостроение, турбиностроение), этот процесс продолжается 7—10 лет, что примерно совпадает со сроком устаревания любого новшества. Крайняя необходимость сократить сроки внедрения и освоения до 3—5 лет заставляет государственную власть идти на конструктивные изменения в области промышленности и обслуживающей ее науки. Эти изменения предполагают новые формы объединения промышленности с заводской и отраслевой наукой на базе их концентрации и специализации. Новые объединения, так называемые Советские государственные фирмы, по идее, должны способствовать наиболее полному освоению промышленностью всех последних технических открытий и новейших разработок, их обязательному и быстрому внедрению в производство. Новые формы объединений последовательно, по охвату функций и сфер влияния, представляют трехступенчатую систему:

- ВПО — Всесоюзное промышленное объединение (Министерство, главк, отрасль),
- НПО — Научно-производственное объединение (подотрасль),
- ПО — Производственное объединение (специализация и концентрация промышленности и заводской науки по профилю производства).

Ленинград и Ленинградская область явились отличной экспериментальной базой для предварительного испытания возможных путей реорганизации промышленности и науки на уровнях НПО и ПО. Специализация и концентрация промышленности и ее органическая связь с наукой сложились в этом городе исторически. Первые русские формы этого возникли в Петрограде в начале XX века и создали традиционную культуру организации промышленности в России. До сегодняшнего дня все ведущие предприятия города имеют столетнюю историю и выдержали многие испытания. Они представляют передовую советскую индустрию в самом широком диапазоне: от тонкой химической технологии и приборостроения до станкостроения, кораблестроения и тяжелого машиностроения. Филиалы этих огромных промышленных предприятий имеются в разных местах Союза и „несут опыт” на периферию, используя материальные и кадровые ресурсы не только РСФСР, но и союзных республик. Издавна зародилась и развилась в Ленинграде заводская промышленная и отраслевая наука. Крупные ученые давали консультации и руководили научными подразделениями на производстве, совмещая эту деятельность с работой в академических институтах. Таким образом, исследователи получали не только экспериментальную базу огромного масштаба для воплощения своих технических разработок,

но и отлично знали насущные задачи современной промышленности. В свою очередь, технические производства города имели свои исследовательские лаборатории (заводскую науку) и могли осуществлять необходимые научные доработки, а иногда и самостоятельные разработки. Заводские научные подразделения хорошо разбирались в путях, задачах и трудностях своей области промышленности. Разнообразие промышленных направлений сильно влияло на отраслевую ведомственную науку, изучавшую всевозможные способы производства новой продукции и усиленно курировавшую опытные разработки своих открытий от возникновения идеи до ее материального воплощения. В Ленинграде ярко выражена связь академической науки и производства. Потребности последнего продиктовали тематику исследований Физико-технического института, Института высокомолекулярных соединений, Радиорентгенологического института и других. В городе и области налажена подготовка кадров для промышленности в системе старейших высших учебных заведений, таких, как Ленинградский электротехнический институт, Политехнический институт, Технологический институт. Все эти институты, зародившиеся на заре промышленного развития России, имеют лучшие педагогические кадры страны и наиболее широкие возможности подготовки молодых инженеров и ученых. Традиционно инженеры и исследователи учатся и научно растут в одном потоке. Не будем сейчас останавливаться на кризисе в советской системе обучения, но на общем уровне подготовки кадров высшей квалификации в стране Ленинград, конечно, занимает одно из ведущих мест.

В город удобно ввозить нужных промышленности рабочих, которых поселяют в районах новост-

роек и в пригородах. Имеющиеся сейчас рабочие должны подготовить кадры высокого уровня себе на смену, это — необходимое условие участия страны во всемирном научно-промышленном прогрессе. В Ленинграде есть специальный Академический исследовательский Институт социально-экономических проблем, который призван решать теоретические задачи реорганизации промышленности и ее непосредственной связи с научными учреждениями для быстрее и максимально внедрения и освоения всех разработок и открытий. В Институте социально-экономических проблем создаются, обосновываются, а также экспериментально проверяются на базе крупных промышленных предприятий, заводской и отраслевой науки (Невский завод, Ленинградский металлический завод, Северный Кабель, Оптико-механический завод и т. д.) новые организационные формы связи науки с производством — Советские государственные фирмы.

Высшая форма объединений — Всесоюзные промышленные объединения (ВПО) должны заменить ныне существующие министерства. В Москве частично начато преобразование Всесоюзных и Всероссийских министерств в Промышленные объединения, на базе концентрации и специализации различных областей промышленности и ведомственной науки на общесоюзном уровне. В Ленинграде в течение последних 5—7 лет функционируют Научно-производственные объединения (НПО) „Интеграл”, „Позитрон”, „Гранит”, „Оптико-механическое”. Они созданы на базе экономического и территориального слияния отраслевого института или группы институтов с головным предприятием подотрасли. Головное предприятие, в свою очередь, непосредственно связано и руководит всем специали-

зированным промышленным производством, то есть группой заводов, выпускающих аналогичную продукцию. НПО Ленинграда уже обслуживают точное приборостроение, радиоэлектронику, медицинское оборудование, навигационное оборудование, тонкую химическую технологию, нефтехимию, программное станкостроение. Трудно еще сказать, существенно ли изменился срок внедрения и освоения новой продукции.

Территориальное и административное объединение отраслевых исследовательских институтов и курируемых ими объектов промышленности должно упростить контроль за производством новой продукции и выявить ответственных за систематическое отставание этой продукции от мировых стандартов. НПО оправдывают себя в тех случаях, когда отраслевая наука решает технические задачи в новых областях промышленного производства, таких, как приборостроение, радиоэлектроника и т. п. Объединение и реорганизация науки и производства в Ленинграде начались с образования именно НПО на базе слияния отраслевых институтов и прикрепления к ним опытного завода для внедрения и освоения их собственной новой продукции. Кроме того, в Ленинграде существуют крупные заводы, имеющие собственную заводскую научно-техническую базу. Это легло в основу другой формы объединения — ПО, то есть концентрации и специализации на базе головного завода, с заводской и отраслевой наукой, обслуживающей всю группу заводов аналогичного профиля. В Ленинграде эта форма объединения стала доминировать. Сейчас окончательно решено и экспериментально подтверждено, что ведущей формой объединения в Ленинграде станут Производственные объединения. В настоящее время в Ленинграде функционируют

следующие ПО: Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), Невский завод (оба объединения занимаются турбиностроением), ПО имени Свердлова (общее станкостроение и станкостроение с программным управлением). Как уже говорилось выше, в Ленинграде головные предприятия традиционно имеют в своей системе научные подразделения. В Производственных объединениях заводская наука административно сливается с промышленным производством на базе головного завода подотрасли. И здесь головное предприятие служит экспериментальной базой для разработок, внедрения и освоения новой продукции. Производственное объединение, структурно оформленное в Советскую государственную фирму, так же, как и Научно-производственное объединение, отвечает за работу всех заводов, производящих такую же продукцию. В связи с тем, что ПО и НПО по функциям разнозначны, трехступенчатая форма организации промышленности и обслуживающей ее науки превращается в двухступенчатую. Таким образом, название НПО или ПО дается по принципу преимущества науки над производством или производства над наукой.

ВПО — Всесоюзное → промышленное объединение



НПО — Научно-производственное объединение. Отраслевая наука соединения с опытным производством (иногда вновь созданным), одновременно являющимся и головным предприятием. Эта форма больше

ПО — Производственное объединение. Собственная научная база головного предприятия (завода с традициями производства) обслуживает все заводы, выпускающие аналогичную продукцию. Эта форма бо-

подходит для приборостроения, радиоэлектроники, тонкого химического машиностроения, морского приборостроения.

более эффективна для тяжелого машиностроения, турбостроения, станкостроения, кораблестроения, энергетического машиностроения.

Итак, Научно-производственные объединения и Производственные объединения, будучи сходны по функциям, имеют различия в структуре управления и взаимосвязи подразделений, а иногда и в принципах финансирования (последнее — немаловажно для советской системы ведения хозяйства). Так как ленинградский эксперимент считают завершенным, по всей стране начата перестройка и реорганизация промышленности и ее объединение с отраслевой, заводской и фундаментальной наукой (ГОИ — Государственный оптический институт*). Ленинградский эксперимент проводился под непосредственным контролем и руководством Государственного Комитета по науке и технике при Совете министров СССР. Реорганизацию всей промышленности и науки планирует Госплан Союза — как главный орган хозяйственного планирования и финансирования. Правительство осуществляет высший контроль. Трудно предвидеть, в какой степени при преобразовании промышленности будут учтены региональные интересы и возможности. Во всяком случае в Ленинграде планируется развитие таких отраслей промышленности, как станкостроение с программным управлением, радиоэлектроника, крупное и тяжелое машиностроение, кораблестрое-

* ГОИ занимается широким спектром работ: от фундаментальных исследований мирового значения до решения чисто производственных задач. В ГОИ работает свыше 6.000 человек.

ние. Из города решено постепенно вывести химическое производство. Такой прогноз развития регионального производства ведет к изменению подготовки кадров в учебных заведениях города.

Со временем статистические показатели дадут картину перестройки промышленности и науки. Такие показатели (к сожалению, выраженные не в конкретных величинах, а в процентном соотношении) появятся в официальной статистике СССР. Статистическое управление Союза выпускает сборники с подобной информацией. Сборник „СССР в цифрах” дает ряд сведений о положении в стране и в союзных республиках, о росте кризиса или его частичной ликвидации. Для того чтобы судить о положении промышленности и обслуживающей ее науки, следует сравнить в динамике такие показатели, как: занятость в науке, новая продукция, модернизированная продукция, срок амортизации, срок освоения, срок внедрения, экономический эффект, эффективность, рост опытных баз, основные фонды, капиталовложения, фондоотдача, и все показатели рабочей силы по численности и квалификации, подготовке специалистов и их профессиональному росту. Демографические сведения дополнят последнюю группу кадровых показателей.

Однако в официальной статистике никогда не будет данных по текучести рабочей силы или перемещению промышленных объектов. Следует помнить, что в Союзе статистические показатели часто дают недостоверную информацию. Это происходит из-за неточного и неполного сбора первичной статистической информации. Не соблюдается закон формирования надежного статистического материала, то есть единое понимание данного показателя всеми — от источника первичной информации до верхнего, правительственного

уровня, на котором он суммируется и оформляется численно. Даже Центральное статистическое управление Союза имеет несовершенные формы для получения сведений о промышленности, заводской и отраслевой науке. В этих формах нет ясных определений, что понимать под исследованиями, разработками, прикладной и фундаментальной наукой. Неточно выражены такие понятия, как: новая техника, новая технология, опытный образец и т. д. Поэтому всегда возможно искажение информации.

В связи с насущной потребностью новой организации промышленности и обслуживающей ее науки — возник большой интерес к структурам и внутрифирменному управлению в Японии, ФРГ, США. При создании новых объединений многое заимствуется, особенно в тех отраслях промышленности, которые работают на экспорт, то есть в сельскохозяйственном и дорожном машиностроении, турбиностроении, тяжелом машиностроении. При строительстве новых крупных промышленных объектов сразу же делается попытка разработать его структуру и систему управления и контроля. Так построены новые автомобильные предприятия на Урале и севере Союза (завод им. Тольятти, КАМАЗ). В первую очередь планируется научно-техническая база объединения, которая должна обеспечить новую продукцию, модернизацию старой и успешное их внедрение в производство. В Союзе накоплено еще слишком мало опыта, чтобы давать какие-либо четкие рекомендации по типовым структурам. Очевидно, что каждый новый объект социалистического хозяйства нуждается в индивидуальном подходе, а любая советская система тяготеет к унификациям. Это извечное противоречие между инициативой снизу и бюрократической системой контроля сверху тормозит

и уничтожает любые разумные и прогрессивные начинания в Союзе.

Структура автономных или объединенных вместе научно-технических подразделений НПО и ПО должна обеспечивать:

- возможность четкой специализации;
- рациональное планирование выпуска новой продукции;
- сокращение времени на разработки, идущие в производство;
- наиболее полное освоение результатов исследований;
- исключение возможности дублирования;
- экономию материальных и денежных средств.

Структура, соответствующая этим условиям, создает возможность более продуктивного и целесообразного распределения работ по степени квалификации для аппарата управления, инженерно-технического персонала и рабочих. Она обеспечивает устойчивые связи между исполнителями и руководителями. Можно с уверенностью сказать, что ни одна из форм организации промышленности, заводской и отраслевой науки не решает этот комплекс задач. Анализ работы 24-х НПО и ПО в Союзе за последние 5 лет, построенный на учете основного показателя — производительности труда (выполнение государственного плана по выпуску продукции), позволил получить фактические данные о передовых подразделениях. На основе этих сведений можно установить примерное численное соотношение основных групп, работающих в объединениях машиностроительного профиля (приборостроение, радиоэлектроника).

**Фактические данные, характеризующие
соотношение групп научно-производственного
персонала в НПО и ПО
(в % к итогу)**

Общая численность научно-производственного персонала, человек.	Научный персонал			Персонал макетно-го и экспериментального производства	Административно-управленческий персонал		Персонал хозяйственного обслуживания
До 500	1,6	47,2	17,2	10,7	7,0	7,9	8,4
500-1000	1,4	49,1	15,0	12,3	6,7	7,3	8,2
1000-1500	1,6	51,0	14,5	12,0	6,0	7,3	7,6
1500-2000	2,1	52,5	14,5	11,7	6,1	7,2	5,7
2000-2500	2,0	52,0	14,2	13,1	5,9	7,0	5,8
Более 2500	3,5	54,2	15,9	10,9	5,0	6,3	4,2

II

Отсутствие в стране необходимых продуктов питания вынуждает правительство попытаться изменить систему ведения сельского хозяйства. Сегодня производство многих продуктов обходится государству дороже их номинальной стоимости. Закупочная цена сельскохозяйственных продуктов часто равна рыночной. Правительство не решается поднять цены на эти продукты хотя бы до их фактической себестоимости. Государственная власть, учитывая острую политическую ситуацию в стране, держит пока на дотации мясо, молоко, хлеб, в надежде, что быстрая перестройка структуры сельского хо-

зяйства даст положительные результаты и покроет их неправдоподобный дефицит. Метод, который часто применяется при повышении стоимости не только продуктов питания, но и товаров широкого потребления, называется „пересортица” и состоит в том, что тот же самый продукт или товар продается под маркой повышенного качества. При этом цена его возрастает иногда в 2—3 раза. Обычно при подобных мероприятиях сперва на рынке создается дефицит того или иного продукта или товара, а затем он появляется в продаже (спустя год, два) по сильно повышенным ценам.

Реорганизация системы сельского хозяйства началась вместе с реорганизацией промышленности. Предполагается создание широкой системы сельскохозяйственных объединений — специализированные Сельскохозяйственные фирмы на базе совхозов. В подобных объединениях овощи и фрукты будут не только выращиваться, но и перерабатываться в концентраты, консервы и т. д. В животноводческих объединениях предполагается производство готовых мясо-молочных продуктов питания. В современном официальном языке стало редким слово „колхозник”. Теперь крестьянин называется труженик полей, сельскохозяйственный рабочий, механизатор. „Труженик полей” получает заработную плату от государства деньгами, а не натуральным продуктом. Он получает пенсию по болезни и старости, а иногда и дотации. Реорганизацию сельского хозяйства на базе объединений предполагается начать в нечерноземных областях страны, где хозяйство особенно непродуктивно. Этим объясняется финансирование сельского хозяйства нечерноземных районов через Госплан Союза по годовому бюджету, чего раньше не делали. Однако объединения не могут начать нормально

функционировать, пока не будут обеспечены коммуникации, необходимые для вывоза сельскохозяйственной продукции.

III

Документом, который должен не только планировать развитие советской экономики, но и помочь в осуществлении контроля над ее состоянием, будет общий Пятилетний комплексный план экономического и социального развития страны. По этому плану на основании прогноза будет осуществляться развитие экономики и ее обоснованное финансирование. До создания общего плана страны будут разработаны частные пятилетние планы для республик, областей, районов, городов, отраслей, объединений и прочих объектов. Все комплексные планы на низшем уровне создаются по единому стереотипу: с развернутой системой показателей, которые затем можно привести к одному общему, суммарному. Планы состоят из набора „форм” с перечислением этих экономических и социальных показателей в динамике развития по годам на ближайшее пятилетие. Рост, снижение или стабильность показателя (например, численность научных кадров в больших городах) дается в сравнении с прошедшим пятилетием в процентном отношении. В комплексные планы войдут все показатели промфинпланов, дополненные новыми, такими, как эффективность, экономический эффект и т. п. Некоторые формы целиком посвящены кадровым показателям (квалификация, переквалификация, социальный, профессиональный, демографический состав). Планы делятся на две части. Первая содержит финансово-экономические показатели, а вторая — социальные.

В планы включаются данные о потребностях объекта и его ресурсах. Имеются формы для ежеквартального и ежегодного контроля за выполнением планируемого развития объекта, указываются конкретные ответственные лица, отвечающие за выполнение тех или иных показателей плана, обозначены также необходимые условия для их выполнения. Таким образом, общегосударственный план не будет „директивой сверху”, как раньше, а будет исходить из реального положения экономики страны.

Контрольные цифры министерств тоже будут не произвольными и отразят объективные возможности правительства. Первый Комплексный план экономического и социального развития создается для Ленинграда и Ленинградской области. Госплан СССР не имеет еще Комплексного плана Союза, но старается собрать социально-экономическую информацию, за достоверность которой, однако, поручиться нельзя.

В Союзе в настоящий момент существует глубоко порочная финансовая система, из-за которой одному и тому же учреждению или предприятию выгодно в одном случае завышать, а в другом — занижать данные одного и того же показателя. Показатель может быть завышен для министерства или ведомства при получении годовых или квартальных премий за выполнение плана выпуска продукции. Тем же учреждением тот же показатель занижается для Госплана Союза при получении дополнительных ассигнований. Само же министерство потворствует этому. Городским и районным властям сообщаются данные по тому же принципу. И все-таки „формы” Госплана дают самую достоверную статистику по стране из всей существующей в Союзе. Много трудностей возникает при обработке статистиче-

ских данных из-за отсутствия традиции правильного сбора информации и из-за серьезных недостатков в методике расчета.

IV

Но есть явление, борьба с которым правительству не под силу. Это рекордно низкая производительность труда, отчасти являющаяся протестом людей против существующего режима. Правительство применяет порочную систему стимулирования повышения производительности труда. Долгое время таким стимулом был фетиш — „социалистическое соревнование”. Со временем по необходимости в систему были введены другие методы воздействия: продвижение по партийной или профсоюзной линии (то есть избавление от повседневного, профессионального тяжелого труда), даровые путевки на отдых, бесцельные командировки и даже поездки за границу. Совершенно ясно, что подобные методы не могут привести к стабильно высокой производительности труда. В науке и в бюрократических советских учреждениях убыток от низкой производительности труда повседневно не так заметен, как на производстве, однако и там и здесь люди отдают себе отчет в том, что они работают не в полную силу своих возможностей, до такой степени, что зарплату стали называть „зряплатой”. Но и неудивительно, что это так, так как зарплата сегодняшнего дня чаще всего не обеспечивает прожиточного минимума. В сельском хозяйстве никто не хочет больше работать задаром, не веря ни в какие посулы.

В городах и в городской промышленности наблюдается явление под названием „нехватка рабочей

силы". Промышленности, особенно в больших городах, все время не хватает рабочих. Многие предприятия в Ленинграде не могут иметь ночную рабочую смену из-за нехватки кадров. Не могут эксплуатировать мощные станки, на обслуживание которых необходимо выделить 5—7 человек одновременно. Ленинградский металлический завод по этим причинам не вводит в поток дорогостоящие карусельные японские станки. Ночная смена работы осуществляется в этом новом Промышленном объединении за счет заключенных из ближайшей Крестовской тюрьмы. Ленинград ежегодно ввозит 500.000 рабочих (разных профессий и квалификаций). Все они оседают в перенаселенном городе с острым жилищным кризисом. Статистика дает приблизительно такую же цифру нигде не работающих ленинградцев, так называемых „тунеядцев". Так как трудящееся население не заинтересовано в месте работы, а предприятия постоянно нуждаются в рабочей силе любой квалификации (вплоть до инженерно-технического персонала), происходит огромная текучесть кадров. Рабочие переходят с места работы на другое место под любым предлогом и по любому поводу. Например, неудобное транспортное сообщение может служить обоснованной причиной увольнения и перехода на другую работу. Руководители промышленных объектов вынуждены улучшать социальные условия работы и быта. И все это мало помогает. Ни текучесть, ни нехватка кадров не ликвидируются. Эффективна только одна система — повышение зарплаты и денежная оплата за сверхурочную работу. Власти на местах получили от правительства право ее применять. Рабочий высокой квалификации (как и сельскохозяйственный рабочий) получает сейчас месячную зарплату большую, чем инженерно-технический

служащий. У населения Союза потерял интерес к не дающему видимых привилегий высшему образованию. В течение многих лет существования советской власти рабочий обязан был учиться. Это был его социальный и профессиональный долг, навязанный государством. Таким образом, промышленность лишилась рабочих высших и редких специальностей. Они становились инженерами средней квалификации. Теперь, чтобы сохранить дефицитные рабочие специальности, государству приходится увеличивать месячные оклады таких рабочих до 250 рублей (в среднем на 50—100 рублей больше того, что получает инженер).

Сверхурочная или ночная работа, работа в субботу и в воскресенье, необходимая для выполнения месячных, квартальных и годовых планов, дает рабочему от 10 до 15 рублей в день. Однако повышение зарплаты и новая денежная премиальная система пока не в силах справиться с низкой производительностью труда, текучестью и недобросовестностью в работе. Деньги в Союзе обесцениваются с потрясающей скоростью. Повышение окладов рабочим, инженерно-техническим работникам и работникам других специальностей не дает прожиточного минимума семье с одним работающим.

Будучи не в состоянии ликвидировать нехватку рабочей силы в больших городах, государство использует рабочую силу на периферии и строит новые объединения на Урале и на севере (автозавод им. Тольятти, КАМАЗ и т. д.). Но при этом сразу же возникают трудности: эти рабочие центры надо кормить и обеспечивать всем необходимым. Проще ввозить рабочую силу в промышленные города. И опять — неразрешимые противоречия...

Правительству ясно, что единственный реальный путь повышения производительности — это повы-

шение оплаты труда, но как хочется в силу традиций еще попользоваться социалистической демагогией. В новоявленных объединениях появился, например, фетиш: вместо борьбы за Красное знамя идет борьба за „знак качества”, то есть за мировой стандарт качества продукции. Но хорошо известно, что этот знак часто ничего не значит, кроме повышения цены. Никакой реорганизацией сейчас уже не заменишь необходимость коренной перестройки всей системы в целом.

Сан-Франциско, 25 сентября 1981 г.

СОДЕРЖАНИЕ

с № 123 по № 126

ПРОЗА

БОРОДИН Леонид

Гологор, 124

ВЛАДИМИРОВА Лия

Письмо к себе, 123

ВЛАДИМОВ Георгий

Не обращайтесь вниманья, маэстро.

Рассказ для Генриха Белля, 125

МАРКИШ Давид

Две главы из романа о Петре I, 126

РАТУШИНСКАЯ Ирина

О смысле жизни. Голос. Рассказы, 126

ПОЭЗИЯ

БОДРОВА Нина

Четыре стихотворения: Смотри, словно
ветер из света и др., 123

ВОГАК Ростислав

Девять стихотворений: С годами каждая
весна и др., 126

ДРУСКИН Лев

Большая дорога — большая печаль;
День был прозрачен, но грозы вихор;
На стареньком перроне, 126

РАТУШИНСКАЯ Ирина

Пять стихотворений: Я напишу о всех
печальных и др., 123

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ГОРИЧЕВА Татьяна

Из писем к духовному брату, 123

ЧАЕВ П. О.

Катакомбные монастыри, 123

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- БАХРАХ Александр
„Белое и черное”, 125
- БАХРАХ Александр
Вспоминая Алданова, 124
- КРУГОВОЙ Г.
Эмблематика чисел в
„Мастере и Маргарите”, 123
- ПАРАМОНОВ Борис
Набоков в Америке. По поводу одной
переписки, 125
- ШНЕЕРСОН Мария
Великое противостояние душ

ИСКУССТВО

- ОПУЛЬСКИЙ Альберт
Л. Н. Толстой, фотография
и кино, 123

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- АНДРЕЕВ Ник.
О судьбе Русского Исторического
Архива в Праге, 125
- ДНЕВНИКИ, записи, письма ген. АЛЕКСЕЕВА и воспо-
минания об отце В. М. Алексеевой-Борель, 125
- МАХРОВ П. С. ген.
Доклад Главнокомандующему Вооруженными
силами на Юге России, 124
- РУТЫЧ Н.
К опубликованию бумаг Основателя
Добровольческой Армии, 125

ИСТОРИЯ

- ПУШКАРЕВ С. Г., проф.
О свободе и самоуправлении в России.
Часть I, 126

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

ОБОЛЕНСКАЯ Ирина

Сегодняшний день экономической
системы хозяйства в СССР, 126

ПОППЕР Карл

Незавершенные поиски. Интеллектуальная
автобиография, 126

РОСС Н.

В Крыму при Врангеле, 124

ЮРЬЕВ Г.

Китайский угол треугольника, 123

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕДЛИХ Роман

Памяти Н. Е. Андреева, 123

К ИСТОРИИ гибели памятников русской культуры.

Введение Н. Рутыча, 126

ШВЕДЕР И. М. фон

Портрет Пушкина, 123

БИБЛИОГРАФИЯ

АКСЕНОВ В.

Ожог. — Анн Арбор: „Ардис” 1980.

(Ю. Жедилягин), 124, с. 269.

АКСЕНОВ В.

Остров Крым. — Анн Арбор: „Ардис” 1981,

(Ю. Жедилягин), 124, 269.

РОССИЯ в эпоху реформ. Сборн. статей под ред. В. Желя-

гина и Н. Рутыча. — Франкфурт/М.: „Посев” 1981

(Д. Пospelовский), 125, с. 312.

ЦВЕТАЕВА М.

Фото-биография. — Анн Арбор, Мичиган: „Ардис”

1980. (Ник. Андреев), 123, с. 272.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Алексеева-Борель В. М., 125 | Оболенская Ирина, 126 |
| Андреев Ник., 123, 125 | Опульский Альберт, 123 |
| Бахрах А., 124, 125 | Парамонов Борис, 125 |
| Бодрова Н., 123 | Поппер Карл, 126 |
| Бородин Л., 124 | Поспеловский Д., 125 |
| Владимирова Лия, 123 | Пушкарев С. Г., 126 |
| Владимов Георгий, 125 | Ратушинская Ирина, 123, 12 |
| Вогак Ростислав, 126 | Редлих Роман, 123 |
| Горичева Т., 123 | Росс Н., 124 |
| Друскин Лев, 126 | Рутыч Н., 125, 126 |
| Жедеягин Ю., 124 | Чаев П. О., 123 |
| Круговой Г., 123 | Шведер И. М. фон, 123 |
| Маркиш Давид, 126 | Шнеерсон М., 126 |
| Махров П. С., ген., 124 | Юрьев Г., 123 |

ВЫШЕЛ В СВЕТ

ВЕСТНИК
РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
№ 136

Ответственный редактор Н. А. Струве

Читайте в нем:

БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

- Новые переводы псалмов, Синайского Патерика, слова в честь Божией Матери пресвитера Хрисиппа.
- Богословие четвертого Евангелия — Прот. Серг. Булгаков.
- Вера, борьба и соблазн Льва Шестова — А. Со-
провский (Москва)

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

- Памяти Шаламова.
- Стихи — Г. Айги
- Письма Баламута — К. Льюис.
- Гоголь и Блок — Н. Сергеев (Москва)
- Россия распятая — М. Волошин.

СУДЬБЫ РОССИИ

- К 300-летию Аввакума — П. Андреев (Москва) и
Н. Струве
- О канонизации Николая II и его семьи — Н. Алек-
сеев (Москва)
- Интервью историка Марка Раева
и многое другое.

Цена: 60,00 фр.

Прием подписки:

91, rue Olivier de Serres — 75015 PARIS

Розничная продажа:

Les Editeurs Réunis,

**11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75015 PARIS**

ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

С большим сожалением сообщаем, что начиная со следующего, 1983, года мы вынуждены повысить цены на подписку и розничную продажу нашего журнала «Грани».

За шесть лет, в течение которых мы сохраняли цену «Грани» на одном и том же уровне, стоимость типографских работ очень сильно поднялась, а тем более увеличились и почтовые расходы, которые только за последний год удорожили рассылку на 35%. Нет ни одного издательства в Западной Европе и Америке, которое сохранило бы в течение 6 лет цены на периодические издания на прежнем уровне. И нам, несмотря на все старания, теперь также приходится поднять цены.

НОВЫЕ ЦЕНЫ:

Цена в розничной продаже	17,50 н. м.
Подписка в издательстве	56,00 н. м.
Подписка через посредников	70,00 н. м.

Из-за сильных колебаний валют, только цена в марках остается действительна, но мы принимаем оплату чеками в любой валюте. Если при обмене образуется разница в нашу пользу, мы ее принимаем как пожертвование для посылки литературы в Россию.

Редактирует редакционная коллегия

Главный редактор Р. Н. Редлих

Заместитель главного редактора Н. Рутыч

Ответственный секретарь Д. Мусина

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привезти вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaurov c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- ☐ Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ” — 17.50 н. м., „ПОСЕВ” — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.